БОЛЬШИЕ КНИГИ

Арчибальд Кронин

ЗАМОК БРОУДИ

«ИНОСТРАНКА»

Иностранная литература. Большие книги

Арчибальд Кронин

Замок Броуди

«Азбука-Аттикус»
1931

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)-44

Кронин А. Д.

Замок Броуди / А. Д. Кронин — «Азбука-Аттикус», 1931 — (Иностранная литература. Большие книги)

ISBN 978-5-389-11534-7

Самый популярный роман знаменитого прозаика Арчибальда Кронина. Многим известна английская пословица «Мой дом – моя крепость». И узнать тайны английского дома, увидеть «невидимые миру слезы» мало кому удается. Однако дом Джеймса Броуди стал не крепостью, для членов его семьи он превратился в настоящую тюрьму. Из нее вырывается старшая дочь Мэри, уезжает сын Мэт, а вот те, кто смиряется с самодурством и деспотизмом Броуди – его жена Маргарет и малышка Несси, – обречены…

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-389-11534-7

© Кронин А. Д., 1931
© Азбука-Аттикус, 1931

Содержание

Часть первая 6
I 6
II 22
III 33
IV 42
V 54
VI 63
VII 73
VIII 85
IX 92
Конец ознакомительного фрагмента. 93

Арчибальд Кронин
Замок Броуди

A. J. Cronin
HATTER'S CASTLE
Copyright © A. J. Cronin, 1931
All rights reserved
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2016
Издательство Иностранка®

Часть первая

I

Весна 1879 года была удивительно ранняя и теплая. По полям Нижней Шотландии ровной пеленой стлалась зелень ранних хлебов, свечки на каштанах распустились уже в апреле, а кусты боярышника, живой изгородью окаймлявшие белые ленты проселочных дорог, зацвели на целый месяц раньше обычного. В деревнях фермеры сдержанно радовались, ребятишки босиком мчались за поливальными машинами. В городах, расположенных по берегу широкой реки, лязг железа на верфях теперь не казался уже таким навязчивым и в мягком весеннем воздухе, поднимаясь к холмам, сливался с жужжанием первой пчелы и тонул в ликующем блеянии ягнят. В конторах клерки, сняв пиджаки и в изнеможении развалясь на стульях, кляли жаркую погоду, возмущались политикой лорда Биконсфильда, известием о войне с зулусами и дороговизной пива.

Над всем устьем реки Клайд, от Глазго до Портдорена, над Овертоном, Дэрроком, Эрдфилленом – городами, расположенными между Уинтонскими и Доренскими холмами и образующими как бы три вершины треугольника плодородной земли на правом берегу лимана, – и над старинным городком Ливенфордом, лежащим в основании этого треугольника, в том самом месте, где Ливен впадает в Клайд, – над всем ослепительно сияло солнце, и, пригретые его чудесным благодатным теплом, люди трудились, бездельничали, болтали, ворчали, плутовали, молились, любили – жили.

В одно майское утро над Ливенфордом в истомленной зноем вышине лениво висели редкие клочки облаков. Но к концу дня эти тонкие, как паутина, облака медленно зашевелились. Поднялся теплый ветерок и погнал их по небу, а когда они скрылись из виду, ветерок налетел на город. Первое, что он встретил на пути, была высокая историческая скала, которая стояла, словно маяк, на месте слияния реки Клайд с ее притоком Ливеном и четко рисовалась на опаловом небе, напоминая неподвижную тушу громадного слона. Теплый ветер обогнул скалу, быстро пронесся по жарким улицам убогого предместья, Нового города, а затем между высоких стапелей, подъемных кранов и каркасов недостроенных судов на расположенных вдоль морского рукава верфях «Лэтта и К°», где кипела работа; после этого он прогулялся по Черч-стрит – медленно, как и подобает прогуливаться по главной улице, где находятся городская ратуша, городская школа и приходская церковь, и наконец, миновав эту чинную улицу, весело закружился в гостеприимно открытом пространстве главной площади. Потом как-то нерешительно, словно в раздумье, направился между рядами лавок Хай-стрит и достиг Ноксхилла, высоко расположенного квартала жилых домов. Здесь ему скоро надоело гулять по террасам из выветрившегося красного песчаника да шелестеть в плюще на стенах старых каменных домов, и, стремясь поскорее выбраться в поля, ветерок снова пронесся через город между чопорных вилл аристократического квартала Уэлхолл, овеяв мимоходом круглые цветнички пурпуровой герани, украшавшие палисадник перед каждым домом. Затем, беспечно пробежав по широкому, красивому проспекту, который от аристократического квартала вел за город, ветерок внезапно похолодел, налетев на последний дом в конце этой улицы.

Дом этот представлял собой своеобразное сооружение. Небольшой, таких размеров, что в нем могло быть не более семи комнат, но массивный, из серого камня, поражающий суровой тяжеловесностью и совершенно необычайной архитектурой.

Внизу дом имел форму узкого прямоугольника, длинной стороной обращенного к улице. Стены поднимались не прямо от земли, а стояли на каменном цоколе, который был на целый

фут длиннее и шире их основания, так что все здание опиралось на него, как животное – на глубоко врытые в землю лапы. Фасад, с холодной суровостью высившийся на этом цоколе, одной своей половиной переходил в круто срезанный конек, а другая половина заканчивалась низким парапетом, который тянулся горизонтально до соединения со вторым таким же коньком над боковой стеной дома.

Эти остроконечные выступы имели очень своеобразный вид: каждый из них рядом крутых прямоугольных ступенек переходил в украшенную каннелюрами верхушку, на которой гордо красовался большой шар из полированного серого гранита. Они соединялись между собой парапетом, который своими правильно чередовавшимися острыми зубцами образовал как бы тяжелую цепь из каменных звеньев, кандалами сковывавшую все здание.

У того угла, где сходились боковая и передняя стены дома, поднималась невысокая круглая башня, также опоясанная зубчатой лентой парапета, украшенная посредине глубокой ромбовидной нишей и увенчанная башенкой, на которой торчал тонкий камышовый флагшток. Тяжеловесные пропорции ее верхней части делали башню приземистой и уродливой, придавая ей сходство с широким нахмуренным лбом, обезображенным глубоким шрамом, а из-под этого лба угрюмо и загадочно глядели два глубоко посаженных глаза – прорезанные в башне узкие оконца. Как раз под башней был вход – невзрачная узкая дверь, весьма негостеприимная на вид, похожая на враждебно сжатый тонкий рот; боковые створки двери круто сходились вверху в стрельчатую арку, окружавшую окно из темного стекла и заканчивавшуюся острием. Окна дома, как и дверь, были узки, без всяких украшений, казались просто пробитыми в стене отверстиями, которые неохотно пропускали свет, но скрывали от посторонних глаз внутренность жилища.

Весь дом в целом имел какой-то таинственный, мрачный и отталкивающий вид, и непонятно было, какая мысль руководила теми, кто его строил. Небольшие его размеры мешали ему достигнуть надменного величия какого-нибудь замка баронов, если таково было назначение его готической башенки, бастионов и круто скошенных углов. Однако от этого здания веяло таким холодом, такой суровой мощью, что невозможно было увидеть в нем лишь самодовольную претензию на показное великолепие. Его зубчатые стены производили впечатление холодно-напыщенное, но не забавное, и он, при всей своей нелепости, вовсе не казался смешным. В его грандиозной архитектуре было что-то такое, от чего замирал смех, – что-то глубоко скрытое, извращенное, ощущаемое всеми, кто пристально всматривался в дом, как уродство, как воплощенное в камне нарушение гармонии.

Жители Ливенфорда никогда не смеялись над этим домом – по крайней мере не смеялись открыто. Такова была неуловимая атмосфера могущества, окружавшая его, что никто не решился бы и улыбнуться.

Перед домом не было даже палисадника; вместо него – усыпанный гравием, голый, палимый солнцем, но безукоризненно чистый двор, посреди которого стояла в качестве единственного украшения маленькая медная пушка; пушка эта некогда находилась на борту фрегата, участвовала в последнем залпе с него, а теперь, провалявшись много лет на портовом складе, важно красовалась, начищенная до блеска, между двумя симметричными кучками ядер, придавая последний штрих нелепости этому своеобразному жилищу. За домом находился поросший травой квадратный клочок земли с четырьмя железными столбиками по углам, окруженный высокой каменной стеной, под которой росло несколько кустов смородины – единственная растительность в этом жалком подобии сада, если не считать заглядывавшего в окно кухни унылого куста сирени, который никогда не цвел.

Через это окно, хоть его и заслонял сиреневый куст, можно было разглядеть кое-что внутри. Видна была просторная комната, обставленная комфортабельно, но безвкусно. Здесь стояли диван и стулья с сиденьями из конского волоса, большой стол, пузатый низенький комод у одной стены и большой красного дерева буфет – у другой. Пол был покрыт линолеумом, стены

оклеены желтыми обоями, а камин украшали тяжелые мраморные часы, своим важным видом как бы подчеркивавшие, что здесь – не просто кухня, место для стряпни (стряпали главным образом в посудной, за кухней), а скорее столовая, общая комната, где обитатели дома ели, проводили свой досуг и обсуждали все семейные дела.

Стрелки на украшавших камин часах показывали двадцать минут шестого, и старая бабушка Броуди уже восседала на своем стуле в углу у огня, поджаривая гренки к вечернему чаю. Это была ширококостная угловатая старуха, сморщенная, но не дряхлая, несмотря на свои семьдесят два года, высохшая, похожая на сучковатый ствол старого дерева, лишенного соков, но еще крепкого и выносливого, закаленного временем и непогодами. Особенно подчеркивали это сходство узловатые руки с утолщенными подагрой суставами. Лицо ее, цветом напоминавшее увядшие листья, было все изрыто морщинами; черты лица – крупные, резкие, мужские, волосы, еще черные, аккуратно разделены посредине прямым пробором, обнажавшим белую линию черепа, и тугим узлом закручены на затылке. Жесткие редкие волоски, подобно сорным травам, пробивались на подбородке и верхней губе. На бабушке Броуди была черная кофта и длинная, волочившаяся за ней по земле юбка такого же цвета, маленькая черная наколка и башмаки с резинками, которые, несмотря на то что были очень велики, не скрывали подагрических утолщений на суставах пальцев и плоской стопы.

Согнувшись над огнем (при этом от ее усилий наколка съехала немного набок) и держа вилку обеими трясущимися руками, она с бесконечными предосторожностями поджарила два толстых ломтя булки, с любовной старательностью подрумянив их сверху так, чтобы внутри они оставались мягкими, и, когда все было проделано к ее полному удовлетворению, положила их на том конце блюда, куда она сможет сразу дотянуться и быстро взять их себе, как только семья сядет за стол. Остальные ломтики она поджарила кое-как, не проявляя к ним никакого интереса. Делая это, она недовольно размышляла о чем-то, то втягивая, то надувая щеки и лязгая при этом вставными зубами, что у нее всегда служило признаком недовольства. «Это просто безобразие, – говорила она себе, – Мэри опять забыла купить сыр! Девчонка становится все невнимательней, и на нее, как на какую-нибудь дурочку, в столь важных вопросах нельзя полагаться. Что же это за ужин без сыра, свежего дэнлопского сыра?»

От мысли о нем длинная верхняя губа старухи задрожала, и струйка слюны потекла из угла рта.

Размышляя так, она метала из-под насупленных бровей беглые обвиняющие взгляды на свою внучку Мэри, сидевшую против нее в кресле, в котором обычно сидел отец и которое поэтому было священным и запретным для всех остальных.

Но Мэри не думала ни о сыре, ни о кресле, ни о преступлениях, которые она совершила, забыв о первом и усевшись во второе. Ее кроткие карие глаза были устремлены в окно, сосредоточенно глядели вдаль, словно видели там нечто, чаровавшее ее сияющий взор.

По временам ее выразительные губы складывались в улыбку, затем она тихонько бессознательно качала головой, потряхивая локонами, и при этом по ее волосам, как рябь по воде, скользили блики света. Ее маленькие ручки, гладкие и нежные, как лепестки магнолии, лежали на коленях ладонями кверху, своей пассивностью свидетельствуя о том, что Мэри вся поглощена размышлениями. Она сидела прямо, как стебель тростника, прекрасная задумчивой и безмятежной красотой глубокого, спокойного озера, где качаются тростники.

В ней была вся нетронутая свежесть юности, но вместе с тем, несмотря на ее семнадцать лет, бледное лицо и стройная, еще не сформировавшаяся фигура дышали спокойной уверенностью и силой.

Все возраставшее негодование старухи наконец прорвалось. Чувство собственного достоинства не позволяло ей прямо приступить к вопросу о сыре, и вместо этого она сказала с подавленной и оттого еще более сильной злобой:

– Мэри, ты сидишь в кресле отца!

Ответа не было.

– Ты села на место отца! Слышишь, что тебе говорят!

Все еще никакого ответа.

Тогда старая карга закричала, вся дрожа от сдерживаемой ярости:

– Ах ты, разгильдяйка, ты что же – не только глупа, но вдобавок еще глуха и нема? Почему ты сегодня забыла купить то, что тебе наказывали? На этой неделе не было дня, чтобы ты не выкинула какой-нибудь глупости. Или ты очумела от жары?

Как внезапно разбуженная ото сна, Мэри подняла глаза, очнулась от задумчивости и улыбнулась, словно солнцем осветив тихое и грустное озеро своей красоты.

– Вы что-то сказали, бабушка?

– Нет! – хрипло прокричала старуха. – Я ничего не сказала, я просто открыла рот, чтобы ловить мух. Это замечательное занятие для тех, кому делать нечего. Верно, ты этим и занималась сегодня, когда ходила в город за покупками. Меньше бы зевала, так лучше запомнила бы, что надо!

В эту минуту из посудной вошла с большим металлическим чайником в руках Маргарет Броуди. Вошла торопливо, мелкими и быстрыми шажками, наклонившись вперед и волоча ноги. Такова была ее обычная походка, – казалось, она всегда куда-то спешит и боится опоздать. Она сменила халат, в котором обычно стряпала и убирала, на юбку и черную шелковую блузку, но юбка была в пятнах, у пояса болталась какая-то неаккуратно завязанная тесемка, а волосы были растрепаны и висели прядями вдоль щек. Голова Маргарет была постоянно наклонена набок. Когда-то это делалось для того, чтобы выразить покорность и истинно христианское смирение в дни испытаний и бедствий, но время и вечная необходимость изображать самоотречение сделали этот наклон головы привычным. Ее нос, казалось, тоже отклонился от вертикального направления – быть может, из сочувствия, но вероятнее всего – вследствие нервного тика, который развился у нее в последние годы и создал привычку проводить по носу справа налево тыльной стороной руки.

Лицо у Маргарет было истомленное, усталое, и в выражении его было что-то трогательное. Она имела вид человека, падающего от изнеможения, но постоянно подстегивающего в себе последнюю энергию. Ей минуло сорок два года, но она казалась на десять лет старше.

Такова была мать Мэри, и дочь так же мало походила на нее, как молодая лань на старую овцу.

«Мама» (ибо так называли миссис Броуди все в доме), привыкшая в силу необходимости улаживать семейные передряги, с первого взгляда заметила гнев старухи и растерянность дочери.

– Сию же минуту встань, Мэри! – воскликнула она. – Уже почти половина шестого, а чай еще не заварен! Ступай позови сестру. А вы, бабушка, все ли поджарили? Ах, боже мой, да у вас один кусок подгорел! Давайте его сюда, придется мне его съесть. В этом доме ничего не должно пропадать даром!

Она взяла подгоревший ломтик и демонстративно положила его к себе на тарелку, затем принялась без всякой надобности переставлять посуду на накрытом к чаю столе, как бы показывая, что все сделано не так, как надо, и придет в порядок только тогда, когда грех небрежной сервировки будет заглажен ее безропотными, самоотверженными усилиями.

– Кто ж так накрывает на стол! – пробормотала она пренебрежительно, когда дочь встала и вышла в переднюю.

– Несси! Несси! – позвала Мэри. – Чай пить! Чай пить!

Из комнаты наверху ей ответил звонкий голос, певуче растягивая слова:

– Иду-у! Подожди меня!

Через минуту обе сестры вместе вошли в кухню. Не говоря уже о разнице в возрасте (Несси было только двенадцать лет), они резко отличались друг от друга и наружностью и характером, и контраст между ними сразу бросался в глаза.

Несси была прямая противоположность Мэри. Волосы у нее были светлые, как лен, почти бесцветные и заплетены в две аккуратные косички; она унаследовала от матери ее кроткие глаза с поволокой, нежно-голубые, как цветы вероники, испещренные едва заметными белыми крапинками, – глаза с тем неизменно ласковым и умильным выражением, которое заставляло думать, что она постоянно стремится всех задобрить. Личико у нее было узкое, с высоким белым лбом, розовыми, как у восковой куклы, щеками, острым подбородком и маленьким ртом, всегда полуоткрытым благодаря несколько отвисающей нижней губе; все это, так же как и мягкая, неопределенная улыбка, с которой она в эту минуту вошла в кухню, свидетельствовало о природной слабости этого еще не сложившегося характера.

– А не рановато ли у нас сегодня чай, мама? – заметила она лениво, подойдя к матери на обычный осмотр.

Миссис Броуди, занятая последними приготовлениями, отмахнулась от нее.

– Руки вымыла? – спросила она в свою очередь, не глядя на Несси. Затем, не ожидая ответа, посмотрела на часы и скомандовала: – Садитесь все!

Четыре женщины уселись за стол, – первой, как всегда, старая бабка. Они сидели в ожидании, и рука миссис Броуди беспокойно повисла наготове над стеганой покрышкой чайника. Но вот в это выжидательное молчание ворвался низкий и густой звон старых дедовских часов в передней, пробивших один раз, и в то же мгновение щелкнул замок входной двери, затем ее с силой захлопнули. Стукнула поставленная на место трость; по коридору мерно прозвучали тяжелые шаги; дверь в кухню отворилась, и вошел Джемс Броуди. Он направился к ожидавшему его стулу, сел, протянул руку за своей собственной большой чашкой, наполненной до краев горячим чаем; потом ему подали прямо с плиты полную тарелку ветчины с яйцами, булку, специально для него нарезанную и намазанную маслом, и он, как только сел, принялся за еду. Строгая пунктуальность, с какой вся семья собиралась к вечернему чаю, и их напряженное ожидание тем и объяснялись, что ритуал немедленного обслуживания главы дома во время трапез, как и во всех других случаях, был одним из неписаных законов, царивших в этом доме.

Броуди ел жадно и с явным удовольствием. Это был человек громадного роста, выше шести футов, с плечами и шеей, как у быка. Голова у него была массивная, глаза – небольшие, серые, глубоко ушедшие под лоб, а челюсти такие крепкие и мускулистые, что, когда он жевал, под гладкими загорелыми щеками ритмически вздувались и опадали большие твердые желваки. Лицо его, широкое и здоровое, было бы красиво, если бы не слишком низкий лоб и узкий разрез глаз. Густые темные усы отчасти прикрывали рот, но нижняя губа выступала из-под них с угрюмым и дерзким высокомерием.

Тыльная сторона его больших рук и даже толстые лопатообразные пальцы поросли густыми темными волосами. Нож и вилка, зажатые в этой громадной лапе, казались по сравнению с ней просто игрушечными и до смешного неуместными.

После того как глава семейства приступил к еде, разрешалось начать и остальным, но их меню состояло, разумеется, из одного только чая с гренками; сигнал подала бабушка, жадно завладев своими мягкими ломтиками. Иногда, если ее сын бывал в особенно благодушном настроении, он милостиво уделял ей со своей тарелки лакомые кусочки, но сегодня она по его манере держать себя видела, что этого редкого угощения ей не дождаться, и безропотно удовлетворилась тем скромным наслаждением, какое могла доставить ей имевшаяся в ее распоряжении пища. Остальные члены семьи ели каждый на свой лад: Несси – с большим аппетитом, Мэри – рассеянно, а миссис Броуди, втихомолку закусившая какой-нибудь час тому назад, ковыряла подгорелый кусок на своей тарелке с видом существа, слишком хрупкого и слишком обремененного заботами о других, чтобы находить удовольствие в еде.

Стояла полная тишина, нарушаемая лишь чавканьем отца, когда он обсасывал усы, лязгом вставных зубов бабушки, старавшейся извлечь максимальное наслаждение и пользу из процесса насыщения, да время от времени шмыганьем неугомонного носа мамы. На лицах участников этого странного семейного чаепития не заметно было ни удивления, ни сожаления по поводу отсутствия общего разговора за столом: они жевали, пили, глотали, не произнося ни слова, а над всем царил грозный глаз Джемса Броуди. Когда хозяину угодно было молчать, никто не смел произнести ни слова, сегодня же он был в особенно сердитом настроении и, хмурясь, в промежутках между глотками бросал мрачные взгляды на свою мать, которая в порыве жадности не замечала его недовольства и макала корочки в чай.

Наконец он сказал, обращаясь к ней:

– Ведь ты же не свинья, чтобы *так* есть, старая!

Она испуганно уставилась на него, моргая глазами.

– А? Что такое, Джемс? Как я ем?

– Да совсем так, как свинья, которая непременно вываляет или размажет свою еду по всему корыту. Неужто у тебя не хватает ума понять, что ты ешь, как жадная свинья? Влезет ногами в корыто – и счастлива и довольна. Что ж, продолжай! Веди себя как животное, если уж ты до того опустилась! Неужели в твоем высохшем мозгу не осталось ни гордости, ни чувства приличия?

– Я забыла… Я совсем забыла… Я больше не буду. Да, да, я буду помнить! – И от волнения она нечаянно громко рыгнула.

– То-то! – фыркнул Броуди. – Впредь веди себя прилично, старое чучело! – Лицо его потемнело от гнева. – Безобразие, что такому человеку, как я, приходится терпеть это в своем собственном доме. – Он ударил себя в грудь огромным кулаком, и грудь загудела, как барабан. – Такому, как я! – прокричал он. – Как я! – И вдруг замолк, обвел всех взглядом из-под насупленных кустистых бровей и снова принялся за еду.

Слова, сказанные им, были гневны, – но раз он заговорил, то, согласно принятому в этом доме неписаному своду законов, можно было разговаривать и другим, запрет был снят.

– Передай мне папину чашку, Несси, я налью ему еще чаю, – начала миссис Броуди примирительным тоном.

– Сейчас, мама.

– Мэри, милочка, сиди прямо и не беспокой отца. Я уверена, что у него сегодня был трудный день.

– Хорошо, мама, – ответила Мэри, которая и без того сидела прямо и никого не беспокоила.

– Передай же отцу варенье.

Умилостивление разгневанного льва было начато, и нужно было его продолжать: выждав минуту, мама начала снова, на этот раз с испытанного и надежного хода.

– Ну, как сегодня твои успехи в школе, Несси?

Несси испуганно встрепенулась.

– Хороши, мама.

Рука Джемса, подносившая к губам чашку, задержалась в воздухе.

– Хороши? Ты, конечно, по-прежнему первая в классе?

Несси потупила глаза:

– Сегодня нет, папа. Сегодня я только на втором месте.

– Что такое?! Ты позволила себя обогнать? Но кто же это? Кто первый?

– Джон Грирсон.

– Грирсон! Отродье этого сплетника-хлеботорговца! Этого гнусного нищего! Теперь он не один день будет повсюду хвастать! Да что это с тобой приключилось, скажи ради бога? Или ты не понимаешь, как важно для тебя получить образование?

Девочка разрыдалась.

– Она почти полтора месяца была первой, папа, – храбро вступилась за сестру Мэри. – И потом, другие постарше ее.

Броуди смерил ее уничтожающим взглядом.

– А ты держи язык за зубами, пока к тебе не обращаются! – загремел он. – С тобой разговор впереди, моя милая, – вот тогда у тебя будет возможность пустить в ход свой длинный язык!

– Все этот французский, – всхлипывала Несси. – Никак у меня не держатся в голове спряжения… И по арифметике, и по истории, и по географии у меня хорошие отметки, а с французским ничего не выходит. Я чувствую, что никогда его не одолею.

– Не одолеешь! А я тебе говорю, что одолеешь, – ты у меня будешь образованной, дочь моя! Ты хоть и мала еще, да все говорят, что голова у тебя с мозгами (это ты от меня их унаследовала, потому что мать твоя всегда была дура), и я позабочусь о том, чтобы ты их употребила с пользой. Сегодня вечером ты сделаешь два упражнения вместо одного.

– Да, да, папа, я сделаю все, что ты велишь, – вздохнула Несси, судорожно пытаясь подавить рыдания.

– Вот и отлично. – Жесткие черты Джемса Броуди на миг неожиданно осветились чувством, в котором была и доля нежности, но гораздо больше необъятного тщеславия. Оно промелькнуло, как внезапный дрожащий луч света на мрачной скале.

– Мы покажем всему Ливенфорду, чего может добиться моя умница-дочка. Я об этом позабочусь. Когда мы добьемся того, что ты будешь первой ученицей, ты узнаешь, что́ твой отец хочет сделать из тебя. Но ты должна учиться серьезно, учиться изо всех сил.

Он теперь смотрел уже не на Несси, а в пространство, словно созерцая будущее, и пробормотал еще раз: «Мы им покажем!» Затем опустил глаза, погладил склоненную золотистую головку Несси и добавил:

– Ты *моя* дочка, и ты с честью будешь носить фамилию Броуди.

Потом, когда он повернул голову, взгляд его упал на другую дочь и сразу же омрачился, и выражение лица изменилось.

– Мэри!

– Да, папа.

– Ну, теперь поговорим с тобой. Ты ведь за словом в карман не полезешь.

Развалясь на стуле, он заговорил, не повышая голоса, с саркастической усмешкой, взвешивая каждое слово с холодным спокойствием судьи.

– Приятно бывает иной раз услышать от посторонних о том, что делается в твоей собственной семье. Конечно, не слишком-то почетно для главы семейства, что узнавать приходится окольным путем, но это, в сущности, пустяки. И очень лестно было мне услышать о моей дочери новость, от которой у меня нутро перевернулось… – Он говорил все более и более холодным тоном. – Сегодня из разговора с одним из членов городского управления я узнал, что тебя видели на Черч-стрит болтающей с молодым человеком, да, с молодым человеком весьма приятной наружности… – Он оскалил зубы и продолжал едко: – Которого я считаю подозрительным субъектом, негодяем и бездельником!

Тут робко вмешалась миссис Броуди, воскликнув чуть не со слезами в голосе:

– Нет, нет, Мэри, это, конечно, была не ты, – порядочная девушка не станет так вести себя. Скажи же отцу, что это была не ты!

Но Несси, радуясь, что общее внимание отвлечено от нее, необдуманно воскликнула:

– Это был, верно, Денис Фойль, да, Мэри?

Мэри сидела неподвижно, не отводя глаз от тарелки, побледнев до самых губ. Она проглотила клубок, подкатившийся к горлу, и, повинуясь бессознательному порыву, сказала тихо, но твердо:

– Он не бездельник и не негодяй.

– Что такое?! – прорычал Броуди. – Ты смеешь возражать отцу и вступаться за какого-то бродягу-ирландца! Пускай эти Пэдди[1] приходят сюда с их болот копать для нас картошку, но дальше мы их не пустим. Обнаглеть мы им не дадим. Пусть у старого Фойля самый известный трактир во всем Дэрроке, это еще не делает его сына джентльменом!

Мэри чувствовала, что ее всю трясет. Губы у нее пересохли, язык одеревенел. Никогда еще до сих пор она не осмеливалась спорить с отцом, но теперь что-то заставило ее сказать:

– У Дениса есть профессия, папа. Она ничего общего не имеет с торговлей спиртными напитками. Он служит у «Файндли и К°» в Глазго. Это крупная фирма, которая импортирует чай и ничего общего не имеет с… другими напитками.

– Вот как! – сказал Броуди насмешливо-поощрительным тоном. – Это важная новость! Ну, ну, что ты еще можешь сказать в доказательство благородства этого господина? Он в настоящее время не торгует виски. Он торгует чаем. Какое благочестивое занятие для сына кабатчика! Ну а дальше что?

Мэри понимала, что он издевается над нею, но у нее хватило выдержки продолжать тоном кроткого убеждения:

– Он не рядовой конторский служащий, папа. Он на очень хорошем счету и часто разъезжает по делам фирмы. И… и рассчитывает выдвинуться, может быть, он даже станет через некоторое время компаньоном в деле.

– Да неужели?! – усмехнулся Броуди. – Так вот каким вздором он набивал твою глупую голову! «Не рядовой служащий»! Самый обыкновенный коммивояжер – вот и все. А не говорил ли он тебе, что будет когда-нибудь лорд-мэром Лондона, а? Это так же правдоподобно, как все остальное. Щенок!

Слезы текли по щекам Мэри, но, не обращая внимания на протестующий вопль матери, она снова возразила:

– Он на очень хорошем счету, папа, уверяю тебя. Мистер Файндли принимает в нем участие. Я знаю.

– Ба! Уж не думаешь ли ты, что я поверю в его россказни? Все это вранье, сплошное вранье! – снова заорал он на нее. – Этот малый принадлежит к подонкам общества. Чего можно ожидать от людей такого сорта? Одной нравственной испорченности! Ты осрамила меня уже тем, что говорила с ним. Но этот разговор был последним. – Не отводя от дочери властного взгляда, он повторил свирепо: – Никогда ты не будешь больше с ним разговаривать, слышишь? Я запрещаю тебе это!

– Ах, папа… – заплакала Мэри. – Ах, папа, я… я…

– Мэри, Мэри, не смей перечить отцу! Мне даже слушать страшно, как ты позволяешь себе говорить с ним! – раздался голос мамы с другого конца стола. Она пыталась таким образом умилостивить мужа, но на этот раз ее вмешательство было тактической ошибкой и только сразу же направило гнев Броуди на ее собственную покорно склоненную голову. Сверкнув глазами, он обрушился на нее:

– А ты чего суешься? Кто здесь говорит – ты или я? Если имеешь что сказать, так пожалуйста! Мы все замолчим и выслушаем твою мудрую речь. А не имеешь, так держи язык за зубами и не мешай. Ты виновата не меньше, чем она. Это твое дело – следить, с кем она водит знакомство.

Он сердито фыркнул и, по своему обыкновению, выдержал эффектную паузу. Наступила гнетущая тишина, но вдруг старая бабушка, которая то ли не следила за разговором, то ли не уловила характера наступившего молчания и поняла только одно – что Мэри в немилости, не выдержала наплыва чувств и нарушила молчание, прокричав шипящим от злобы голосом:

---

[1] Кличка ирландцев в Англии (уменьшительное от распространенного имени Патрик).

– Она сегодня забыла сделать то, что ей поручили, Джемс! Она забыла купить для меня сыр, эта разгильдяйка!

И, излив таким образом свое бессмысленное раздражение, сразу осела и затихла, бормоча что-то себе под нос. Голова у нее тряслась, как у паралитика.

Сын не обратил ровно никакого внимания на это выступление и, глядя на Мэри, медленно повторил:

– Я сказал. И да помилует тебя Бог, если ты посмеешь ослушаться! Да, вот еще что: сегодня вечером открытие ярмарки в Ливенфорде, – я по дороге домой видел уже все эти вонючие балаганы. Так запомните: никто из моих детей не подойдет ближе чем на сто ярдов к территории ярмарки. Пусть туда бежит хоть весь город, пускай приезжает деревенщина, пускай идут всякие Фойли и их приятели, но никто из членов семьи Джемса Броуди не унизится до этого. Я это запрещаю.

Произнеся последние слова, в которых звучала угроза, он отодвинул стул, тяжело поднял свое громадное тело и с минуту стоял, выпрямившись, возвышаясь над группой слабых людей, окружавших его. Наконец отошел к своему креслу в углу, сел, привычным, механическим жестом нащупал подставку для трубок, выбрал трубку не глядя, на ощупь и, достав из глубокого бокового кармана квадратный кожаный кисет с табаком, открыл его и не спеша набил хорошо обкуренную головку. Затем из кучки за подставкой взял бумажную трубочку, с трудом нагнувшись вперед, зажег ее от огня в камине и поднес к трубке. Проделывая все это, он ни на мгновение не отвел грозного взгляда от безмолвной группы людей за столом. Все так же не спеша закурил, выпятив мокрую нижнюю губу и не переставая наблюдать за всеми, но уже более спокойно, созерцательно, с видом критическим и высокомерным. Несмотря на то что им пора бы привыкнуть к тирании этого холодного наблюдения, оно их всегда подавляло, и теперь они, разговаривая, невольно понижали голос. У мамы лицо все еще пылало. У Мэри дрожали губы. Несси вертела в руках чайную ложку и, уронив ее, смущенно покраснела, словно уличенная в каком-нибудь дурном поступке. Только старуха оставалась безучастной, погруженная в блаженное ощущение сытости.

Но вот шаги в передней возвестили чей-то приход, и в кухню вошел молодой человек лет двадцати четырех, стройный, бледный, с плачевной склонностью к прыщам, с неуверенным, бегающим взглядом. Одет он был настолько франтовато, насколько это позволяло состояние его кошелька и страх перед отцом. Особенно обращали на себя внимание его руки, большие, мягкие, мертвенно-белые, с ногтями, обрезанными так коротко, что на концах пальцев оставались круглые гладкие валики. Он как-то бочком уселся за стол, словно не замечая никого из присутствующих, молча взял из рук матери поданную ему чашку чая и принялся за еду. Это был Мэтью, последний член семьи, единственный сын, а значит, и наследник Джемса Броуди. Ему разрешалось опаздывать к вечернему чаю, так как он служил на судовой верфи Лэтта и кончал работу в шесть часов.

– Как чай, не остыл? – заботливо осведомилась мать, все еще вполголоса.

Мэтью решился ответить только молчаливым кивком.

– Положи себе яблочного повидла, дорогой, оно очень вкусное, – тихонько упрашивала миссис Броуди. – У тебя немного усталый вид. Что, сегодня много было работы в конторе?

Он неопределенно кивнул головой. Его белые, бескровные руки непрерывно двигались, то нарезая хлеб мелкими аккуратными ломтиками, то помешивая чай, то барабаня пальцами по скатерти. Они ни минуты не оставались в покое, двигаясь среди стоявших на столе предметов, как руки священнослужителя, поспешно совершающего какой-то религиозный ритуал. Опущенные глаза, торопливая еда, робкие, беспокойные движения рук – все свидетельствовало о том, как действует на его слабые нервы угрюмый взгляд отца, устремленный ему в спину.

– Еще чаю, сынок? – предложила шепотом мать, протянув руку за его чашкой. – Попробуй печенье, оно только сегодня испечено. – Затем, осененная внезапной догадкой, прибавила вдруг: – Может быть, у тебя сегодня опять желудок не в порядке?

– Да нет, ничего, – пробормотал он в ответ, не поднимая глаз.

– Смотри, медленнее ешь, Мэт, – конфиденциальным тоном предостерегала его мать. – Я склонна думать, что ты иногда недостаточно прожевываешь пищу. Не спеши!

– Но мне ведь сегодня еще надо побывать у Агнес, мама, – шепнул он укоризненно, словно объясняя свою торопливость.

Миссис Броуди понимающе и сочувственно кивнула головой.

Через некоторое время старая бабушка, жуя губами, поднялась, стряхнула крошки с платья и пересела на свое место у огня, выжидая, не пожелает ли сын сегодня поболтать с нею. Когда он бывал в хорошем настроении, он развлекал ее самыми отборными городскими сплетнями, крича ей в ухо, рассказывал о том, как ловко он осадил Уэдделя, как мэр Гордон, встретив его на площади, дружески похлопал его по плечу, или о том, что дела Пакстона идут все хуже и хуже. Ни о ком никогда не говорилось доброго слова, но старуха обожала сплетни, позорившие людей, смаковала язвительную клевету и безмерно наслаждалась такими разговорами, с жадным интересом подхватывая каждое словечко о чужих делах, упиваясь им, гордясь превосходством сына над очередной жертвой, служившей предметом разговора.

Однако сегодня Броуди молчал, занятый своими мыслями, которые теперь приняли более мирный характер под влиянием удовольствия, доставляемого трубкой. Он говорил себе, что надо будет укротить Мэри, что она словно не его дочь: никогда она не подчинялась ему так беспрекословно, как он того хотел, никогда не оказывала такого полного почтения, как все остальные члены семьи. А ведь эта непокорная дочь становится красивой девушкой, – наружностью она в него. Но и ради собственного удовлетворения и для ее же пользы надо сломить в ней дух независимости. Он был доволен, что слух о ее знакомстве с Денисом Фойлем дошел до него, так что он сможет пресечь это знакомство в самом начале.

Он был поражен смелостью, с какой Мэри решилась возражать ему, и не мог понять, чем это объясняется. Да, теперь, после того как он заметил в ней склонность к непослушанию, он будет внимательнее следить за ней и окончательно искоренит эту склонность, если она еще раз проявится.

Потом взгляд его остановился на жене, но только на одно мгновение; ее он ценил лишь постольку, поскольку она заменяла прислугу в доме, и сразу же отвел взгляд, недовольно скривив губы в презрительную гримасу и торопясь перейти к более приятным мыслям.

Да, вот еще Мэтью, сын! Неплохой малый. Немного себе на уме, да и характером слаб и изнежен – вконец избалован матерью. За ним нужен глаз. Впрочем, надо надеяться, что пребывание в Индии сделает из него человека. Через какие-нибудь две-три недели он будет отправлен на ту прекрасную службу, которую предоставил ему сэр Джон Лэтта. Ого, как в городе зашумят об этом!.. Лицо Броуди просветлело при мысли, что в назначении Мэта все увидят знак особого расположения сэра Джона к нему, Джемсу Броуди, новое доказательство его видного положения в городе. Таким образом, назначение в Индию принесет пользу Мэтью и вместе с тем еще усилит всеобщее уважение к его отцу.

Затем глаза Броуди обратились на мать, и на этот раз уже с менее жестким выражением, снисходительнее и мягче, чем давеча за столом. Старуха любит поесть. Видя ее насквозь, он знал, что даже сейчас, когда она сидит и клюет носом у огня, она уже мысленно предвкушает следующую трапезу – ужин из горохового пюре с пахтаньем. Она любила гороховое пюре и всегда твердила тоном, каким повторяют мудрое изречение: «Нет ничего лучше горохового пюре на ночь! После него спишь, как после горячей припарки на живот». У нее один бог – ее желудок. Но она еще молодчина, ей сносу нет, старой ведьме! Чем она старее, тем крепче. Видно, из прочного материала сделана, что так долго держится, и похоже, что проживет еще

добрых десять лет. Если он, ее сын, проживет до таких лет, а может быть, и дольше, будет очень хорошо.

Наконец он взглянул на Несси, и в нем сразу затеплилось слабое, едва уловимое чувство нежности; выражение его лица не изменилось, но взгляд стал ласковее, внимательнее. Да! Пускай себе мать носится со своим Мэтом, можно ей уступить и Мэри в придачу, зато уж Несси – его дочка, его сокровище, из Несси он кое-что сделает! Несмотря на ее юность, в ней уже видны ум и способности, и вчера только директор школы говорил ему, что она когда-нибудь станет настоящей ученой, если будет усердно работать. Да, только так и можно этого добиться – надо с детства направлять ее по намеченному пути. У него есть кое-какие планы насчет будущего Несси. Стипендия Лэтта! Вот будет венец всех ее блестящих успехов в школе. У Несси есть способности, ее нужно только правильно воспитать. Боже, какой это будет триумф! Девушка – стипендиатка Лэтта, первая девушка, получившая стипендию Лэтта, и к тому же из семьи Броуди! Он позаботится, чтобы Несси добилась этого. Пускай ее мать лучше уберет прочь от дочери свои слабые, балующие руки! Он сам возьмется за ее воспитание.

Он еще не вполне ясно себе представлял, что хочет сделать из Несси. Но образование есть образование! Потом она сможет получать в университете различные ученые степени и одерживать победы. Все в городе знают, что Джемс Броуди – человек передовой, широких и либеральных взглядов, и он это еще сильнее подчеркнет, вдолбит это навсегда в глупые головы. Он уже воображал, как люди толкуют между собой: «Слыхали последнюю новость? Способная дочка Броуди поступила в колледж. Ну да, она получила стипендию Лэтта, лучше всех выдержала экзамены, и отец отпустил ее в университет. Вот это передовой человек! И такой дочерью он вправе гордиться».

Да, он утрет нос всем в городе! Броуди выпятил грудь, ноздри его раздулись, глаза были устремлены куда-то вдаль. Он дал волю фантазии. Он не замечал, что трубка потухла и остыла. Он твердил про себя, что добьется всеобщего признания, что все будут смотреть на него снизу вверх, что он когда-нибудь заставит оценить себя должным образом. Мысль о Несси постепенно испарялась, он уже больше не думал о ее будущем, и центральной фигурой в его мечтаниях был уже теперь он сам. Он заранее упивался славой, которой дочь озарит его имя!

Наконец он зашевелился, выколотил трубку, вложил ее обратно в подставку и, в последний раз молча обведя взглядом всю семью, как бы говоря: «Я ухожу, но помните то, что я сказал, от моего глаза не укроетесь!» – вышел в переднюю, надел свою хорошо вычищенную войлочную шляпу, взял тяжелую ясеневую трость и, ни слова не сказав, ушел из дому. Такова была его обычная манера. Он никогда не прощался уходя. Пускай себе строят догадки, куда он ходит в свободные часы – на собрания, в городской магистрат или в клуб. Пускай остаются в неизвестности насчет того, когда и в каком настроении он вернется. Ему доставляло удовольствие, когда все вскакивали при неожиданном звуке его шагов в передней. Только таким образом и возможно держать их в узде, и им будет весьма полезно поломать головы над вопросом, куда он идет. Так подумал Броуди, когда входная дверь с треском захлопнулась за ним.

После его ухода все вздохнули с облегчением, словно рассеялась какая-то нависшая над ними туча. Миссис Броуди ослабила мускулы, которые бессознательно напрягала весь последний час, плечи ее сразу опустились, исчезло и душевное напряжение, и она немного оживилась.

– Ты уберешь со стола, да, Мэри? – сказала она просительно. – Я что-то сегодня устала и расклеилась. Мне не мешает посидеть часок за книгой.

– Хорошо, мама, – ответила Мэри и, как всегда, послушно добавила, зная, что от нее этого ожидают: – Ты заслужила отдых, я сама вымою посуду.

Миссис Броуди покачала склоненной набок головой, как бы протестуя против упоминания о ее заслугах, но вместе с тем соглашаясь с Мэри, встала и, подойдя к комоду, достала из своего собственного потайного уголка в одном из ящиков книгу, роман некой писательницы Эмилии Эдвардс «Клятва Девенхэма». Как и все книги, которые читала миссис Броуди, он был

принесен ей из ливенфордской городской библиотеки. Нежно прижимая книгу к груди, она уселась у очага, и скоро Маргарет Броуди всей своей трагически сломленной душой ушла в переживания героини, предалась одному из тех утешений, которые еще оставила ей судьба.

Мэри быстро убрала со стола и застлала его суконной скатертью, потом, уйдя в посудную, засучила рукава, обнажив тонкие руки, и принялась мыть грязные тарелки.

Несси, оставшись одна за опустевшим столом, который молчаливо напоминал ей о приказе отца заниматься, посмотрела сначала на погруженную в чтение мать, затем на спину бабки, не обращавшей на нее никакого внимания, на Мэта, который теперь развалился на стуле и важно ковырял в зубах. Потом со вздохом усталости начала вытаскивать учебники из своей школьной сумки, неохотно кладя их один за другим на стол.

– Мэри, поди сюда, – позвала она, – сыграем сначала в шашки.

– Нет, дорогая, отец велел тебе заняться французскими упражнениями. Может быть, мы потом успеем сыграть партию, – донесся ответ из посудной.

– Хочешь, я перетру тарелки? – схитрила Несси, пытаясь оттянуть начало своих мучений.

– Нет, не надо, я управлюсь сама, дружок, – возразила Мэри.

Несси снова горестно вздохнула и сказала, словно про себя, совершенно таким же тоном, как мать:

– О господи!

Она подумала о других детях, которые, как она знала, соберутся вместе и будут весело играть в скакалки, в мяч, в чижи, в городки, в другие увлекательные игры, и с тяжелым сердцем принялась за работу.

Мэтью, выведенный из мимолетной задумчивости раздавшимся над самым его ухом монотонным бормотанием «je suis, tu es, il est», спрятал зубочистку обратно в карман жилета и встал из-за стола. После ухода отца его манера держать себя резко изменилась; с миной некоторого превосходства над окружающими он поправил манжеты, многозначительно посмотрел на часы и, шагая вразвалку, вышел.

В кухне наступила тишина, нарушаемая время от времени лишь шелестом перевертываемых страниц, слабым звяканьем посуды в соседней комнате да нудным бормотанием «nous sommes, vous êtes, ils sont».

Но через несколько минут звуки, доносившиеся из посудной, затихли, и вслед за тем Мэри бесшумно проскользнула через кухню в переднюю, поднялась по лестнице и постучала в дверь комнаты Мэтью. Это был привычный ежевечерний визит, и если бы даже Мэри вдруг лишилась всех чувств, кроме обоняния, она могла бы найти эту комнату по исходившему из нее густому, приторному запаху сигарного дыма.

– Можно, Мэт? – спросила она шепотом.

– Войдите, – отозвался из комнаты делано бесстрастный голос.

Мэри вошла. При ее входе брат, только что ответивший ей, и не взглянул на нее. Он сидел без пиджака на кровати, сохраняя такое положение, которое лучше всего позволяло ему видеть себя в повернутом под надлежащим углом зеркале на комоде, и продолжал безмятежно любоваться собой, пуская большие клубы дыма прямо в свое изображение.

– Какой приятный запах у твоей сигары, Мэт, – заметила Мэри с искренним восхищением.

Мэт с шиком вынул изо рта сигару, не переставая удовлетворенно рассматривать себя в зеркале.

– Да, – согласился он, – по цене и запах! Это – «Сюпрем», высший сорт. Пять штук стоят шесть пенсов, но за одну я заплатил полтора пенса. Я взял ее на пробу и, если этот сорт мне понравится, куплю еще. Запах хорош, Мэри; мы, курильщики, ценим больше всего букет. Сигара высшего сорта обязательно должна иметь букет. Эта имеет ореховый букет. – Он

неохотно отвел глаза от зеркала и, внимательно осмотрев свою сигару, произнес: – Ну, теперь хватит, пожалуй.

– Ничего, ничего, покури еще, – поощрила его Мэри. – Мне нравится запах сигары. Это совсем не то что трубка.

– Нет, мне нужно оставить вторую половину на вечер, – решительно возразил Мэтью, осторожно потушил горящий кончик сигары о холодный фаянс умывальника и спрятал окурок в карман жилета.

– Так Агги Мойр нравится, когда ты куришь? – сказала Мэри, делая вывод из его поведения.

– Не Агги, а Агнес, – оборвал он ее, страдальчески морщась. – Сколько раз я просил тебя не фамильярничать. Это вульгарно. Это… это просто дерзость с твоей стороны!

Мэри потупила глаза:

– Извини, Мэт.

– То-то! Запомни, Мэри, что мисс Мойр – весьма достойная молодая девица и моя невеста. Да, если уж хочешь знать, мисс Мойр нравится, когда я курю. Сначала она была против этого, а теперь находит в курении что-то мужественное и романтическое. Она возражает только против того, что от меня потом пахнет табаком, и поэтому дает мне жевать ароматные пастилки. Она предпочитает сорт «Сладкие губки» – они очень приятны на вкус.

– Ты очень любишь Агнес, Мэт? – спросила Мэри серьезно.

– Да. И она меня тоже очень любит, – сказал Мэт убежденно. – Но тебе не следует толковать о вещах, в которых ты ничего еще не понимаешь. Впрочем, ты, конечно, могла бы знать, что если люди гуляют вдвоем, значит они любят друг друга. Агнес меня боготворит. Посмотрела бы ты, какие подарки она мне делает! Каждому молодому человеку лестно иметь такую невесту. Она во всех отношениях достойная девушка.

Мэри некоторое время молчала, внимательно глядя на брата, потом вдруг прижала руку к груди и спросила с невольной стремительностью:

– А бывает тебе больно здесь, когда ты думаешь об Агнес… когда она не с тобой?

– Конечно нет, – чопорно возразил Мэт. – И некрасиво даже с твоей стороны спрашивать о таких вещах. Если бы я почувствовал боль, я бы считал, что это от расстройства желудка. Как ты любишь задавать вопросы – и какие вопросы! Пожалуйста, чтобы этого больше не было! Теперь я буду упражняться на мандолине, так что не мешай.

Он встал и, нагнувшись (осторожно, чтобы не измять парадных брюк), достал из-под кровати футляр, вынул из него мандолину, украшенную большим бантом из розовой шелковой ленты. Затем раскрыл ноты – тонкую тетрадку в желтой обложке с крупным заголовком «Первые упражнения на мандолине», а под ним шрифтом помельче: «Руководство для юных мандолинистов, составленное тетей Нелли по методу известного синьора Розас». Он раскрыл тетрадь на второй странице, положил ее на кровать и, усевшись рядом в позе картинной непринужденности, прижал к себе романтический инструмент и заиграл. Но, увы, он не оправдал ожиданий, вызываемых его позой опытного артиста, не разразился какой-нибудь упоительной чарующей серенадой, а пропиликал медленно и с вымученной старательностью два-три такта из «Нелли Блай», все больше и больше спотыкаясь, пока наконец совсем не остановился.

– Начни снова, – ободряюще посоветовала Мэри.

Он ответил сердитым взглядом:

– Я, кажется, просил тебя помолчать, мисс Трещотка! Ты должна помнить, что мандолина – труднейший и сложнейший инструмент, а мне необходимо подучиться раньше, чем я уеду в Индию. Тогда я сумею дорогой на пароходе играть дамам в тропические вечера. Музыка требует упражнений! Ты знаешь, что я делаю блестящие успехи… Впрочем, может быть, желаешь сама попробовать свои силы, раз ты считаешь себя таким знатоком?

Однако он начал сначала, как советовала Мэри, и кое-как доиграл пьесу. Нестройные, фальшивые звуки следовали друг за другом, терзая уши (этому искусству, как и курению, Мэт позволял себе предаваться лишь в отсутствие отца). Тем не менее Мэри, уткнув подбородок в ладони, с восхищением смотрела на брата, не столько слушая его игру, сколько любуясь им.

Окончив, Мэт небрежным, картинным жестом провел рукой по волосам.

– Я, пожалуй, сегодня не в ударе, Мэри… в легкой меланхолии… то есть огорчен, небольшая неприятность в конторе… Проклятые цифры, они вредно действуют на такой артистический темперамент, как мой. Не понимают меня там, на верфи.

Он вздохнул с томной грустью, приличной непризнанному гению, но скоро поднял глаза и, томимый жаждой похвалы, спросил:

– А как все-таки у меня звучало? Как тебе показалось?

– Очень похоже, – сказала Мэри успокаивающим тоном.

– Похоже на что? – переспросил он подозрительно.

– Ну конечно на «Веселый галоп Кэти».

– Ах ты, дура! – вскипел Мэт. – Ведь это «Нелли Блай».

Он был совсем обескуражен; метнув на Мэри уничтожающий взгляд, вскочил с кровати и в припадке раздражения крикнул, наклонясь, чтобы уложить мандолину в футляр:

– Я уверен, что ты сказала это просто мне назло. – И затем, выпрямляясь, добавил презрительно: – У тебя совсем нет музыкального слуха.

Он словно не слышал усердных извинений Мэри и, повернувшись к ней спиной, достал из комода очень жесткий высокий крахмальный воротничок и ярко-синий, в крапинках, галстук. Но все еще переживая свою обиду, продолжал:

– А вот у мисс Мойр слух есть! И она говорит, что я очень музыкален, что у меня лучший голос в хоре. Она и сама чудесно поет. Я бы желал, чтобы ты была более достойна стать ее золовкой.

Мэри, ужасно огорченная своим промахом, в полном сознании собственного ничтожества попросила:

– Дай я завяжу тебе галстук, Мэт.

Он повернулся к ней, все еще надутый, и снисходительно позволил ей завязать на нем галстук. Это было неизменной обязанностью Мэри, и она выполнила ее ловко и аккуратно, так что, подойдя снова к зеркалу, Мэт остался доволен.

– Теперь брильянтин! – скомандовал он, показывая этим, что Мэри прощена.

Она подала ему флакон, из которого он обильно полил голову пахучей жидкостью, и, с сосредоточенной миной расчесав свои кудри, взбил их надо лбом.

– Волосы у меня очень густые, Мэри, – заметил он, старательно проводя гребенкой за ушами. – Я никогда не буду лысым. Этот осел Каупер, когда он прошлый раз подстригал их, уверял меня, что они уже редеют на макушке. Выдумает же! За такую наглость я перестану у него стричься.

Добившись достаточно эффектной прически, он протянул руки и позволил Мэри помочь ему надеть пиджак, затем достал чистый носовой платок, надушил его одеколоном «Душистый горошек», художественно выпустил кончик платка из верхнего кармана и внимательно проверил эффект в зеркале.

– Элегантный покрой, – бормотал он, глядя в зеркало, – в талии сидит прекрасно. Для провинциального портного Миллер шьет замечательно, не правда ли? Разумеется, я ему даю указания, да и на такую фигуру шить легко!.. Ну уж если *сегодня* Агнес будет мною недовольна… но нет, она, безусловно, будет довольна.

Затем, шагнув к двери, он вдруг отрывисто прибавил:

– И не забудь, Мэри, сегодня в половине одиннадцатого… или, может быть, чуточку позже.

– Ладно, Мэт, я не усну, – шепнула она успокоительно.

– На этот раз наверное?

– Наверное.

Последнее замечание Мэта обнаруживало его ахиллесову пяту: этот достойный восхищения элегантный молодой человек, курильщик, мандолинист, жених, будущий отважный путешественник в Индию, имел одну странную слабость – боялся темноты. Он удостаивал Мэри своего общества и доверия исключительно потому, что она выходила к нему навстречу в те вечера, когда он возвращался поздно, и провожала по неосвещенной мрачной лестнице до его спальни, делая это с неизменной аккуратностью и преданностью, никогда не выдавая его. Она ни во что не ценила услуг, которые оказывала брату, принимала смиренно и с благодарностью его милостивое расположение и, когда он, как сейчас, уходил, оставив за собой смешанный запах сигар, брильянтина и душистого горошка и воспоминание о своей ослепительной особе, смотрела ему вслед любящими и восторженными глазами.

Но когда он ушел и исчезло обаяние мишурного блеска, у Мэри настроение изменилось; ничем больше не занятая, она теперь могла подумать о своем, и ею овладело смятение, тоскливое беспокойство. Все в доме были заняты: Несси с мрачным видом готовила уроки, мама всецело погрузилась в свой роман, а сонная бабушка – в процесс пищеварения. И Мэри, расстроенная, возбужденная, слонялась по кухне, раздумывая о приказе отца, до тех пор, пока мать не посмотрела на нее и не сказала сердито:

– Что это с тобой, чего ты снуешь взад и вперед, как нитка без узла? Садись-ка за шитье или, если тебе делать нечего, ступай спать и не мешай людям читать!

«Лечь спать?» – растерянно спрашивала себя Мэри. Нет, просто смешно ложиться в такую рань! Весь день сегодня она не выходила из дому, так не выйти ли подышать свежим воздухом? Это освежит ее после душного дня. Все подумают, что она ушла к себе в комнату, и никто ее не хватится.

Раньше чем она успела подумать, что делает, она была уже в передней, надела свою старенькую жакетку и шляпку из грубой соломы с потрепанным непогодами пучком вишен и вылинявшей красной лентой, тихо отперла входную дверь и сошла по ступенькам во двор.

Она почти испугалась, оказавшись вне дома, но успокоила себя соображением, что в таком виде она все равно никуда идти не может. Вспомнив о том, что у нее нет ни одного хорошего платья, она грустно тряхнула головой, так что вишни, вот уже два сезона уныло свисавшие со шляпы, закачались, слабо протестуя, и чуть не упали на землю. На воздухе она вздохнула свободнее и задумалась о том, что делает сейчас Денис. Ну конечно, готовится идти на ярмарку. И почему это всем можно туда, а ей нельзя? Это несправедливо, потому что ничего тут нет худого. Самые почтенные люди в городе одобряют ярмарку и покровительствуют ей. Облокотясь о калитку и тихонько раскачиваясь взад и вперед, Мэри упивалась прохладой и прелестью сумерек. Вечер был такой чарующий, дышал влажными ароматами, вокруг пробуждалась жизнь, замершая в знойной духоте дня. Ласточки носились стрелой вокруг трех стройных серебряных берез, росших на лугу против дома, а откуда-то издали подорожник умоляюще взывал к ней: «Выходи! Выходи же! Дзинь, дзинь, дзинь, зазвени ключами, дзинь, дзинь, дзинь!» Просто стыдно сидеть дома в такой вечер! Она ступила за калитку, говоря себе, что только немного прогуляется, дойдет до конца улицы, а потом вернется в дом и будет играть с Несси в шашки. Она шла вперед, никем не замеченная, бессознательно радуясь тому, что на всем протяжении дороги не видно ни единого человека. Сегодня вечером на ярмарке ее ждет Денис. Он попросил ее прийти и погулять с ним, а она безрассудно обещала! Обидно, что ей нельзя идти на ярмарку. Но она боялась отца, а отец решительно запретил ей это.

Как быстро она дошла до конца улицы! Кажется, и минуты не прошло, как она вышла из дому, а уже надо было возвращаться. Рассудок приказывал ей повернуть обратно, но какая-то иная, более могучая сила мешала сделать это. И она шла дальше и дальше, сердце у нее бешено

колотилось, и, как бы в такт этому сердцебиению, она все ускоряла шаг. Вот сквозь зачарованную тишину вечера до ее ушей долетела музыка, тихая, но манящая, властно зовущая. Мэри еще больше заторопилась, она почти бежала, твердя себе: «Не могу! Я должна его увидеть!» И скоро она, трепеща, вступила на территорию ярмарки.

II

Ярмарка в Ливенфорде была ежегодным праздником, гвоздь которого составляли несколько бродячих трупп, маленький зверинец, где показывали, собственно, только слона и двух львов в клетке, тир, где стреляли настоящими пулями, и две гадалки, охотно демонстрировавшие всем безупречные отзывы об их искусстве. Все это и ряд других второстепенных аттракционов открывалось в назначенный день на участке городского выгона.

Территория ярмарки имела форму треугольника. На одной его стороне, там, где кончался город, расположились наиболее важные пункты ярмарки, самые большие палатки и балаганы, на другой – качели, карусели, американские горы, а на третьей стороне, огибавшей луга у реки Ливен, находились стрельбища, галереи для метания кокосовых орехов и кукольные театры, стояли продавцы лимонада, фруктов, нуги, мороженого и множество нарядных киосков, привлекавших все взоры. Эта ярмарка была всегда самой многолюдной и популярной во всей округе и, как магнит, привлекала и городских и деревенских жителей. Она продолжалась обычно около недели и в течение всей этой головокружительной недели принимала по вечерам на свою территорию толпу празднично настроенных людей, которая и в этот первый вечер медленно колыхалась по краям треугольника на все выше вздымавшихся волнах веселья.

Мэри нырнула в это людское море, и оно тотчас поглотило ее. Она перестала быть отдельным существом, ее подхватил вихрь хохочущих, толкающихся, орущих, размахивающих руками людей и нес вперед помимо ее воли. Эта окружающая стихия бросала ее то туда, то сюда, но в то же время неизменно несла вперед, а Мэри только удивлялась собственному безрассудству. Напиравшая на нее со всех сторон шумная толпа, громкие крики, яркий свет – все это далеко не походило на идиллические картины, которые ей рисовало воображение, и не пробыла она и пяти минут на ярмарке, как уже пожалела, зачем пришла, и начинала думать, что, в конце концов, отец, пожалуй, был прав, когда запретил ей идти сюда. У нее была одна только цель – увидеть Дениса, но теперь она говорила себе, что Денис никак не сможет разыскать ее в такой толчее, а когда чей-то острый локоть вонзился ей в бок, потом здоровенный деревенский парень наступил на ногу и в виде извинения весело ухмыльнулся ей, Мэри окончательно испугалась и почувствовала себя несчастной. Что за чувство привело ее сюда, в толпу грубого мужичья? Зачем она так неосторожно, так дерзко ослушалась отца, так легкомысленно, в необузданном порыве прибежала сюда по первому зову этого юноши, с которым знакома один только месяц?

Кружась в толпе, она мысленно оглянулась на этот месяц, вспоминая с простодушным огорчением, что здесь отчасти виновата дверь городской библиотеки. На этой двери изнутри красовалась авторитетная надпись «Тянуть», и, подчиняясь этому лаконичному повелению, те, кто выходил из библиотеки, изо всех сил тянули дверь на себя. Но дверь так туго поддавалась и была такая тяжелая, что человеку, у которого к тому же руки были заняты книгами, казалось гораздо легче нарушить правило и не тянуть, а толкать вертящуюся дверь, если за ним не следило недремлющее око привратника. И вот в один памятный ей день Мэри не задумываясь толкнула дверь, сильно упершись в нее рукой, и упала прямо на жилет какому-то молодому человеку в коричневом костюме. Налетев на него таким образом, она имела полную возможность заметить цвет его элегантного костюма. Волосы у него были темные, и глаза тоже, а лицо – в мелких коричневых веснушках. И когда Мэри сконфуженно подняла глаза, она, несмотря на смущение, сразу заметила (ибо как раз в эту минуту он улыбался), что у него чудесные белые зубы. Пока она большими глазами смотрела на него, полуоткрыв рот, он согнал с лица улыбку, вежливо подобрал уроненную ею книгу, хладнокровно раскрыл ее и прочел фамилию Мэри на абонементной карточке.

– Простите, что испугал вас, мисс Броуди, – сказал он серьезно, но карие глаза его смеялись. – Эта дверь ужасно коварна. Следовало бы сделать в ней окошечко. Виноват во всем я, потому что до сих пор не поднял этот вопрос в городском магистрате.

Мэри вспоминала, как она глупо и неприлично посмеивалась, не устояв перед его забавными шутками, и перестала смеяться только тогда, когда он, испытующе глядя на нее, сказал как бы между прочим:

– Моя фамилия Фойль, я живу в Дэрроке.

Они долгую минуту смотрели друг другу в глаза, причем она, конечно, покраснела как дура (потом Денис уверял ее, что она очаровательно краснеет) и застенчиво сказала: «Пожалуй, мне пора идти». («Какая глупая фраза», – подумала она теперь, вспомнив это.) Фойль не сделал попытки удержать ее, он с утонченной вежливостью отошел в сторону, давая ей дорогу, приподнял шляпу и поклонился. Но все время, пока она шла по улице, она ощущала на себе взгляд этих живых карих глаз, почтительный, внимательный, полный восхищения. И с этого все началось.

Потом она, никогда раньше не видевшая его в Ливенфорде по той простой причине, что он редко сюда приезжал, начала частенько встречать его на улицах. Они постоянно сталкивались где-нибудь, и хотя Денису ни разу не представилось случая заговорить с нею, но он всегда улыбался и кланялся, весело и вместе почтительно. Ее все больше радовала эта веселая и открытая улыбка, она начинала уже высматривать в толпе смелый контур его плеч, жаждать живого блеска его взгляда. Иногда замечала его издали в группе наиболее смелой и свободомыслящей молодежи Ливенфорда, у входа в недавно открытое кафе Берторелли, и с благоговейным ужасом видела, что эти гордые молодые люди обращаются с ним как с равным, даже как с вожаком; это, а также то, что он бывает в таком гибельном месте, как итальянское кафе, приводило Мэри в трепет. Видимо, отдаленное знакомство с Денисом окружало и ее почетом в глазах этой избранной молодежи, так как, когда она, даже в его отсутствие, проходила мимо этой компании, сразу же воцарялось учтивое молчание, все как один снимали шляпы, приветствуя ее и вызывая в ее душе приятное волнение и смущение.

Неделю спустя она снова побывала в библиотеке, и, несмотря на то что на этот раз уже не толкнула, а старательно потянула на себя дверь, как бы выражая этим публично раскаяние и порицание себе, открыто признавая свою вину, она опять, выходя, столкнулась с Денисом Фойлем.

– Мисс Броуди, какое совпадение! Опять мы встречаемся на том же месте, подумайте! Ну не странно ли, что я как раз в эту минуту шел мимо?

Откуда было знать бедняжке Мэри, что он два часа поджидал ее на противоположной стороне улицы?

– Позвольте взглянуть, какую книгу вы взяли сегодня?

– «Помройский монастырь», сочинение миссис Генри Вуд, – пролепетала Мэри.

– Ах да, том второй. Ведь в прошлую нашу встречу я видел, что у вас был первый том.

Тут-то Денис и выдал себя. Мэри уловила робкую нежность в его взгляде, заметила, что он держит себя уже не так хладнокровно и самоуверенно, как в первую их встречу, и сердце ее растаяло, когда он сказал с горячей мольбой:

– Можно мне нести вашу книгу, мисс Броуди?

Мэри и сейчас густо покраснела, вспоминая свое непростительное, не подобающее молодой девице поведение; но факт оставался фактом – она отдала ему книгу, протянула ее покорно и безмолвно, как бы в виде благодарности за его милое внимание. При воспоминании об этом невинном и несомненно банальном начале Мэри вздохнула. С тех пор они встречались несколько… нет, множество раз, и Мэри была так захвачена новым и непонятным ей чувством к Денису, что разлука с ним вызывала в ее сердце боль и ощущение одиночества.

Вздрогнув, она очнулась от воспоминаний. За это время она успела уже обойти кругом всю площадь, не различая никого в тумане разноцветных пятен, плывшем перед ее глазами. Снова подумала о неприятном и опасном положении, в которое попала, о безнадежности попытки отыскать в бурлившем вокруг море лиц то, которое ей было нужно. И так как в этот момент в толпе перед ней образовался проход, по которому можно было выбраться на дорогу, она стала с трудом проталкиваться вперед.

Вдруг чья-то теплая рука сжала ее холодные пальчики. Она поспешно подняла глаза и увидела, что это Денис. Ее охватило ощущение безопасности, волной блаженного покоя разлилось по жилам, и она испытала такое облегчение, что сжала его руку в своей и в простоте душевной воскликнула горячо, торопливо, не дав Денису вымолвить ни слова:

– Ах, Денис, я чувствовала себя такой несчастной здесь без вас, словно я уже потеряла вас навсегда!

Он сказал, с нежностью глядя на нее:

– Как глупо было с моей стороны, Мэри, предложить вам встретиться здесь, в такой толчее. Я был уверен, что разыщу вас, но не сообразил, что вы можете еще до этого попасть в давку. К тому же мой поезд опоздал. Давно вы здесь?

– Не знаю, – прошептала Мэри. – Мне казалось, что годы, но теперь, когда вы со мной, все это пустяки.

– Надеюсь, вас не слишком затолкали, – не унимался Денис. – И как это я допустил, чтобы вы пришли сюда одна! Простить себе не могу! Мне следовало встретить вас на улице. Но я не думал, что здесь сегодня будет такое множество людей. Вы не сердитесь, Мэри?

Она отрицательно покачала головой. И, не скрывая своей радости, не упрекая его за то, что он опоздал, не упоминая о риске, которому подвергало ее свидание с ним в таком месте, весело и простодушно возразила:

– Да нет же, Денис. Теперь мне и давка не страшна, ничего не страшно, раз я вас нашла.

– Мэри, вы настоящий ангел, если прощаете меня! Но я не успокоюсь, пока не заглажу свою вину. Давайте наверстаем потерянное время. Я буду счастлив только тогда, когда повеселю вас, как вы еще никогда в жизни не веселились. Ну, с чего же нам начать? Приказывайте. Все будет исполнено.

Мэри огляделась кругом. Как все изменилось! Как она теперь была рада, что пришла сюда! И люди в толпе казались не грубыми, только шумливыми и веселыми, и, столкнись она снова с тем громадным детиной, который отдавил ей ногу, она бы ответила на его широкую улыбку улыбкой сочувствия. Все было так красочно, повсюду движение, веселье; крики зазывавших публику владельцев балаганов забавляли ее, треск выстрелов в тирах возбуждал, но не пугал. Гремевшая вокруг музыка опьяняла. Когда ее сияющий взор привлекла карусель деревянных лошадок, скакавших по кругу то гордым аллюром, то веселыми прыжками в такт «Кандахарскому вальсу», она радостно засмеялась и указала на них пальцем.

– Вот с чего! – захлебываясь, шепнула она.

– Отлично! Ваше слово – закон, Мэри. Начнем со скакунов. «Все на коней, Донигольская охота начинается!»

Он схватил ее за руку и увлек вперед, и, как по волшебству, толпа, прежде напиравшая со всех сторон, расступилась, словно растаяла перед ними.

– Вот на эту парочку мы и сядем! – весело воскликнул Денис. – Хвосты у них, как у львов, зубы, как у дромадеров! В седло, Мэри! Ваш конь будет скакать выше домов, по глазам видно, что он с норовом!

Они сели каждый на свою лошадку, собрали поводья в ожидании. Закружились сперва медленно, затем быстрее, затем вихрем под бешеную музыку! Возбужденные наслаждением быстрого движения, неслись над толпой глазеющих зрителей, и казалось им, что эта толпа – далеко внизу, под летящими по воздуху копытами их удалых коней, что они мчатся вдвоем

в необъятных небесных просторах, поднимаются ввысь, вдохновленные чудесной радостью полета.

Когда лошади наконец медленно остановились, Денис не дал Мэри сойти и, к ее удовольствию, заставил проделать с ним рядом еще один рейс, потом еще и еще, до тех пор, пока Мэри, приобретя уже некоторый опыт и увереннее сидя в седле, ослабила поводья и, держась только слегка одной рукой, с гордостью показывала Денису, какая она ловкая и смелая наездница. Он хвалил ее, ободрял, упиваясь ее радостью. Мэри наконец стало совестно за свою безрассудную расточительность, она испугалась, что разорит его, и начала умолять его сойти. А Денис смеялся, хохотал до колик:

– Мы можем кататься хоть всю ночь, если вы захотите. Деньги – пустяки, только бы вам было весело.

– Ах нет, не пустяки, Денис! Это ужасно дорого. Сойдем, пожалуйста, – упрашивала она. – Мне будет так же весело смотреть, как катаются другие.

– Ну хорошо. Пойдем отсюда, раз вам так хочется, Мэри. Но это только еще начало. Сегодня вы здесь в обществе миллионера. И мы побываем на всех решительно аттракционах.

– Если только вы *наверное* можете истратить столько денег, Денис, – сказала нерешительно Мэри. – Здесь прямо-таки чудесно! Но я не хотела бы, чтобы вы слишком много тратили на меня.

– Мне не жаль было бы истратить на вас все, что у меня есть, до последнего фартинга, – возразил он с жаром.

Это было только началом. Они утонули в толпе, любуясь праздничной панорамой, жадно упиваясь весельем, царившим вокруг, радуясь тому, что они вместе.

Час спустя, проделав все виды движений, могущих доставить удовольствие, поупражнявшись в метании шаров во всевозможные предметы, посмотрев в зверинце заеденных блохами львов и апатичного слона, потыкав пальцем в жирного мальчика (по убедительной просьбе показывавшего его человека), чтобы удостовериться, что тут нет обмана, подивившись на самую крошечную в мире женщину, поглазев с интересом и вместе с содроганием на «живой скелет» и накупив всякой снеди – от «медовых» груш до леденцов из ячменного сахара, Денис и Мэри стояли перед самой большой палаткой, представляя собой самую веселую и счастливую пару на всей ярмарочной площади. То была палатка знаменитого Макинелли, обещавшего, как возвещалось в афишах, «праздник утонченных и изящных развлечений». Перед палаткой была воздвигнута деревянная эстрада, освещенная теперь четырьмя смоляными факелами, а посреди эстрады стоял сам знаменитый Макинелли, которого легко было отличить по высокому блестящему цилиндру и сюртуку с развевающимися полами, по брюкам в крупную клетку, по извивавшейся на его белом бархатном жилете медной цепочке фасона «Альберт», толстой, как цепь лорд-мэра, и желтой, как настоящее золото. По обе стороны от мистера Макинелли расположились те, о ком синими и красными буквами возвещали расклеенные на всех стенах и воротах предместья анонсы, называя их «блестящей плеядой талантов». Справа высокий мужчина романтической наружности, в парадном, но изрядно потрепанном вечернем костюме, с меланхолической грацией прислонился к одному из столбов, на которых была укреплена палатка, устремив томный взор поверх толпы, словно ища на каком-нибудь небесном балконе достойную его любви Джульетту и в то же время пытаясь, насколько возможно, скрыть свое заношенное и грязное белье, для чего он стянул до самых пальцев рукава фрака и гордо скрестил руки на манишке. Но этот мрачный Ромео был не единственной приманкой балагана: слева от Макинелли красовалось обольстительное создание в ярко-розовом трико и белой балетной юбочке, в лихо заломленной набекрень остроконечной матросской шапочке; время от времени она делала несколько мелких шажков по сцене, как бы намекая на те чарующие пируэты, которые предстоит увидеть зрителям, и посылала толпившимся внизу воздуш-

ные поцелуи, грациозно выбрасывая руки с таким видом, словно вытягивала из губ целые ярды лент.

– Какая она хорошенькая! – прошептала Мэри, которой к этому времени до того уже стал близок ее спутник, что она взяла его под руку.

– Посмотрели бы вы на нее днем, так удивились бы, – возразил более скептически настроенный Денис. – Я кое-что о ней уже слышал. Говорят, – продолжал он медленно, таким тоном, словно открывал позорную тайну, – говорят, что она косая.

– О, Денис, и не стыдно вам повторять подобные вещи?! – воскликнула с негодованием Мэри. Но глянула уже с некоторым сомнением на вызывающий залóм надвинутой на один глаз матросской шапочки. Что это – просто кокетство или у балерины более серьезные причины носить так шапочку?

– Подходите, леди и джентльмены, подходите! – прокричал Макинелли, размашисто сняв цилиндр и держа его в протянутой вперед руке, словно любезно приглашая их войти. – Представление сейчас начнется!.. Мы как раз собираемся начать! Безусловно последнее представление сегодня! Развлечение самого высшего сорта, плата за вход два пенса, только два пенса! Художественно, изысканно, благородно! Джентльмены, вы можете приходить со своими женами или подружками, на нашем представлении им ни разу не придется краснеть. Единственный в своем роде театр Макинелли, безусловно высшего класса! Сейчас начинаем! Джентльмены! По левую руку от меня вы видите мадам Болиту, чудеснейшую и талантливейшую из Терпсихор нашего века.

При упоминании ее имени мадам сделала легкий пируэт, скромно улыбнулась, кокетливо развела руками и принялась еще усерднее, чем прежде, посылать воздушные поцелуи публике.

– Дамы! Справа от меня – синьор Маджини, знаменитый и замечательный певец, прибывший прямо из оперных театров Парижа и Милана, этих центров оперного искусства нашей эпохи.

Синьор Маджини, настоящая фамилия которого была Маджанти, изобразил на лице еще более романтическую грусть и рассеянно поклонился. Можно было подумать, что парижские дамы забрасывали его букетами, а миланские соперничали друг с другом, добиваясь его благосклонности.

– Мы сейчас начнем! Подходите! Подходите! Последнее представление сегодня! Мы закрываем театр до завтра! Благодарю вас всех за внимание! Подходите же! Подходите!

– Должно быть, и в самом деле сейчас начнется, – заметил Денис. – Он столько раз уже это твердил. Войдем?

– Войдем! – с восторгом согласилась Мэри.

И они вошли.

Внутри стоял смешанный запах парафина, разогретых опилок, апельсинных корок. Ощупью находя дорогу в пахучей полутьме балагана, они отыскали свободные места, уселись и после короткого напряженного ожидания были вознаграждены: программа началась. Она состояла из двух отделений: в первом выступала мадам Болита, во втором – синьор из Парижа и Милана. Но потому ли, что великого Макинелли манил неотразимый аромат его ужина (бифштекса с луком), исходивший из фургона за палаткой, или потому, что он рассчитывал дать сегодня еще одно представление (уже безусловно последнее!), – трудно сказать: во всяком случае, представление было чрезвычайно коротким. Мадам делала пируэты, принимала различные позы, тяжело подпрыгивала и, шумно опускаясь на тонкие скрипучие доски эстрады, всякий раз испускала невольные вздохи, которые у менее талантливой артистки можно было бы принять за хрюканье, а легкие движения сопровождала прищелкиванием пальцев и резкими вскриками: «Ля-ля! О-ля-ля!» Проделав пируэты в глубине эстрады, она игриво семенила к рампе, с пренебрежительным видом выбрасывала вперед, в воздух, ногу основательной толщины, томно опиралась подбородком на вытянутый указательный палец и, слегка балансируя

на второй ноге, победоносно озирала публику. Затем, словно сама себя поздравляя, сливала свое «о-ля-ля!» со слабым треском аплодисментов, кокетливо встряхивала головой и снова принималась за прыжки по эстраде, приводившие ее к прежнему месту. Кульминационным пунктом ее первого выступления был момент, когда она, с простертыми вперед руками и искаженным от напряжения лицом, медленно, с трудом опустилась на пол, вытянув ноги горизонтально. Вовремя опущенный занавес спас ее, избавив от необходимости снова подняться.

– Не так уж плохо, если принять во внимание ее возраст, – конфиденциально шепнул Денис. – Но когда-нибудь после таких упражнений от нее останется одно воспоминание.

– Ах, Денис, – укоризненно отозвалась Мэри. – Это вы ведь не всерьез говорите? Неужели она вам не понравилась?

– Если вам нравится, то нравится и мне. Но не просите меня в нее влюбиться, – сказал шутливо Денис. – Посмотрим, что будет дальше, – заключил он, когда, после надлежащей паузы, занавес снова поднялся и за ним открылась слабо освещенная глубина сцены, где колыхалась тучная фигура несравненной Болиты. Закутанная в длинное белое одеяние, она на этот раз была без матросской шапочки, но вместо нее стыдливо прикрывала лицо длинными распущенными желтыми волосами. За плечами у нее была пара больших крыльев совершенно ангельского вида, и она парила в полумраке перед глазами изумленных зрителей, как настоящий серафим. Не было больше ни трюков, ни дешевой мишуры балета, и, казалось, она, преображенная, чистая, презирала то создание, которое только что кричало здесь «о-ля-ля!». Так она величаво плыла над сценой под аккомпанемент отчетливо слышного скрипа и кряхтения каната и блока, поддерживавших ее на воздухе, и бренчание пианино за кулисами. Публика усиленно выражала свое одобрение главным образом пронзительными свистками на задних скамьях и громкими криками: «Бис! Бис!» Но выступления на бис не допускались в театре Макинелли. Мадам с поклоном, от которого затрепетали ее крылья, грациозно удалилась со сцены и поспешила в фургон, чтобы посмотреть, спит ли уже маленькая Кэти Маджинти, ее внучка.

Мэри, в экстазе хлопая артистке, повернулась к Денису.

– Ну, что вы теперь скажете? – спросила она серьезно и вызывающе, словно желая проверить, осмелится ли Денис критиковать такое божественное создание. Они сидели на узкой деревянной скамейке, тесно прижавшись друг к другу, держа друг друга за руки. Денис, глядя на повернутое к нему, сиявшее восторгом лицо Мэри, сжал ее пальчики и ответил многозначительным тоном:

– Скажу, что вы – чудная!

Мэри от души расхохоталась. И вдруг звуки ее собственного смеха, такого непривычно веселого и непринужденного, вероятно в силу контраста, вызвали в ее душе воспоминание о родном доме, и, сразу сжавшись, словно она нырнула в ледяную воду, Мэри задрожала и поникла головой. Но затем с некоторым усилием подавила приступ уныния, утешенная близостью Дениса, снова подняла глаза и увидела на сцене Маджини. На белом экране появилась наведенная волшебным фонарем из глубины балагана надпись: «Любовь и верность, или Подруга моряка». На расстроенном пианино кто-то проиграл первые такты баллады, и Маджини запел. В то время как он пел слащавые слова баллады, на экране проходили картины, в ярких красках изображавшие волнующие испытания верной любви. Встреча моряка с дочерью мельника у плотины, расставание. Потом одинокий, страдающий моряк у себя в каюте, тяжкие невзгоды в море и не менее тяжкие страдания его возлюбленной дома, ужасы кораблекрушения, стойкий героизм, спасение – все эти картины мелькали одна за другой перед затаившими дыхание зрителями, и наконец, к облегчению и удовлетворению всего зала, достойная счастья пара встретилась и соединила руки у той же самой плотины (на экране снова первая картина).

После этого синьор Маджини по требованию публики исполнил «Жуаниту», балладу, воспевавшую обольстительные прелести одной дамы, более смуглой и пылкой, чем ангелоподобная невеста моряка, и страсти более бурные и опасные. Когда он кончил, на задних скамьях так долго и громко орали, выражая одобрение, что только через некоторое время удалось расслышать слова певца: он объявлял, что последним его номером будет «Страна любви», популярная песня Чиро Пинсути. В противоположность двум первым, это оказалась простая, мелодичная и трогательная песенка, и, несмотря на то что певец никогда не бывал южнее округа Демфри, где подвизался театр Макинелли, он спел ее хорошо. Когда волна сладких звуков полилась во тьму балагана, Мэри почувствовала, что ее влечет к Денису порыв трепетной нежности. Чувство это казалось ей таким возвышенным и прекрасным, что глаза ее наполнились слезами. Никто никогда еще не относился к ней так, как Денис. Она его любит. Увлеченная далеко за пределы своего замкнутого и однообразного существования опьяняющими впечатлениями этого вечера и колдовством музыки, Мэри готова была, если бы Денис этого потребовал, с радостью умереть для этого юного бога, чью близость ей было так сладко и вместе так горько ощущать: сладко – потому, что она обожала его, горько – потому, что ей предстояло с ним расстаться.

Певец умолк. Мэри вздрогнула и очнулась, поняв вдруг, что представление окончено. Спаянные одним и тем же невысказанным чувством, понимая друг друга без слов, они с Денисом вышли из палатки на свежий ночной воздух. Было уже темно, и ярмарочная площадь освещалась факелами. Толпа, хоть и поредевшая, все еще весело бурлила вокруг, но для нашей пары, находившейся под влиянием более мощных чар, ярмарочные развлечения утратили уже свою прелесть. Оба нерешительно оглядывались.

– Зайдем еще куда-нибудь? – медленно спросил Денис.

Мэри покачала головой. Она провела сегодня такой чудесный вечер, ей хотелось бы, чтоб он длился вечно. Но он прошел, все кончилось, и предстояло самое трудное – расстаться с Денисом. Предстояло возвращение домой, тягостный путь из царства любви, и – увы! – пора было в него пускаться.

– Тогда погуляем еще немножко, – настаивал Денис. – Да право же, Мэри, еще не поздно. Мы не уйдем далеко.

Как уйти от него? Ей уже сжимала горло тоска при одной мысли о расставании, она чувствовала, что ей необходимо побыть с ним еще немножко. Хотелось оттянуть печальное отрезвление от радости, от волшебства этого вечера. Присутствие Дениса было ей нужно всегда, оно приносило отраду и успокоение. Острота этого нового чувства к нему мучила ее, как рана в сердце, сила этого чувства изгнала из ее мыслей дом, отца, все, что могло бы удержать ее, помешать идти с Денисом.

– Идем же, Мэри, милая, – упрашивал он ее. – Еще рано.

– Ну хорошо, погуляем еще чуточку, – согласилась она наконец шепотом.

Тропинка, по которой они пошли, тянулась вдоль извилистого берега Ливена. По одну ее сторону журчала вода, по другую – лежали росистые луга, городские пастбища. Полная луна, сиявшая как полированный диск кованого серебра, плыла высоко в небе, среди серебряной пыли звезд, и гляделась в таинственную глубину темных вод. Временами на ее белый диск, сиявший так далеко наверху и в то же время заключенный в темном лоне реки внизу, набегали полосами тонкие пучки облаков, словно призрачные пальцы, заслоняющие глаза от невыносимо яркого света. Денис и Мэри шли молча, завороженные красотой лунной ночи, и воздух, дышавший росистой ночной свежестью и ароматами буйно разросшейся вокруг травы и дикой мяты, льнул к ним, касаясь их щек, как ласка.

Перед ними над тропинкой летали, гоняясь друг за другом, две большие серые бабочки, мелькая, как фантастические тени, над высоким тростником и осокой, которыми порос низкий берег Ливена; бесшумно кружась, порхая во всех направлениях, они оставались все время

вместе, не улетая одна от другой. Их крылышки блестели в серебряном свете, как большие пылинки, пляшущие в лунном луче, и шелест их полета падал в тишину, как трепетание падающего с дерева листа.

Река также текла почти неслышно, слабо плескаясь у берегов, и эта журчащая песня воды казалась чем-то неотделимым от тишины ночи.

Денис и Мэри отошли уже так далеко от ярмарки, что о ней напоминали лишь огоньки вдали, меркнувшие в лунном сиянии, да звуки духового оркестра, долетавшие со слабым шепотом ветерка и смягченные тишиной вокруг. Но Мэри и Денис не замечали ни музыки, ни луны, и хотя бессознательно они и наслаждались красотой ночи, но видели только друг друга. От мысли, что она в первый раз наедине с Денисом и они двое словно отделены от всего мира, сердце Мэри заливала трепетная радость, и оно бурно колотилось.

Да и Денис, это испорченное дитя города, был побежден новым, никогда не испытанным чувством. Его умение вести легкий, пустой разговор, делавшее его душой всякого общества, куда-то исчезло, источники комплиментов, которые текли так естественно из его уст, казалось, все высохли. Он молчал, как немой, и был мрачен, как на похоронах. Он чувствовал, что репутация его поставлена на карту, что необходимо сказать что-нибудь, хотя бы сделать самое банальное замечание. Но как ни ругал он себя мысленно болваном, простофилей, пустым человеком, воображая, что он оттолкнет Мэри этим глупым молчанием, язык его точно прилип к гортани, а сердце было так переполнено, что он не мог заговорить.

Они шли рядом степенно, неторопливо, с виду спокойные, но в каждом из них бурлил прилив невысказанного чувства, и оттого, что они молчали, чувство это все росло и росло. Мэри испытывала самую настоящую физическую боль в сердце. Они с Денисом шли, тесно прижавшись друг к другу, и ощущение его близости рождало в ней невыразимое томление, безмерную тоску, которую облегчала лишь рука Дениса, крепко прижимавшая ее руку, словно сковавшая ее трепещущее тело с его телом и, как целительный бальзам, успокаивавшая боль в груди.

Наконец они вдруг как-то помимо воли остановились и повернулись друг к другу. Мэри откинула назад голову, чтобы лучше видеть Дениса. Ее овальное личико было бледно от лунного света и казалось удивительно одухотворенным. Денис наклонился и поцеловал ее. Губы ее были мягки, горячи и сухи, она протянула их ему, словно причастие принимала. В первый раз она целовала мужчину, и, несмотря на ее полнейшую чистоту и невинность, в ней властно заговорил инстинкт пола, и она крепко прижалась губами к его губам.

Денис был потрясен. Его скромный опыт донжуана не заключал в себе ничего подобного этой минуте, и с таким чувством, словно он только что получил в дар нечто редкое и удивительно прекрасное, он, не сознавая, что делает, порывисто опустился на колени, обхватил Мэри руками и благоговейно приник лицом к ее платью. Запах грубой и заношенной шерстяной материи показался ему благоуханием; он ощущал под юбкой ноги Мэри, такие трогательно тонкие и молодые, слабо вздрагивавшие от его прикосновения. Теперь ему ясно видна была маленькая впадинка у горла, от которой бежала вниз голубая жилка. Когда он снял с Мэри шляпу, непослушный локон свесился на ее бледный, гладкий лоб, и Денис поцеловал сначала эту прядку, поцеловал неловко, робко, с неуклюжестью, которая делала ему честь, а потом уже прижался губами к глазам Мэри и закрыл их поцелуями.

Они очутились в объятиях друг у друга, кусты ракитника и высокий тростник укрывали их, трава мягко поддавалась под ними. От соприкосновения их тел чудесная теплота разлилась по жилам, слова стали не нужны, и в молчании они забыли весь мир, видя и ощущая только друг друга. Голова Мэри лежала на плече Дениса, и меж ее полуоткрытых губ зубы блестели в лунном свете, как белые зернышки. Ее дыхание благоухало парным молоком. Снова Денису бросилась в глаза у изгиба шеи голубая жилка под белой кожей, напомнив ему ручеек, бегущий среди девственного снега, и он нежно погладил ее, осторожно проследив кончиками паль-

цев от шеи вниз. Как округлы и крепки были ее груди – каждая, как несорванное чудесное яблоко с гладкой кожурой, пряталась в его ладони, ожидая ласки. От прикосновения Дениса кровь бросилась Мэри в лицо, она часто задышала, но не оттолкнула его руки. Она чувствовала, как ее маленькие девичьи груди, которые до сих пор как-то оставались вне ее сознания, набухали, словно наливались соками из ее крови; казалось, вот-вот из сосков брызнет молоко для невидимого младенца. Потом сознание ее затуманилось, и, лежа с закрытыми глазами в объятиях Дениса, она забыла все, перестала существовать, она принадлежала уже не самой себе, а Денису. Душа ее быстрее ласточки устремилась к нему навстречу, ей казалось, что их души встретились, взлетели, оставив тела на земле, и несутся в вышине так легко, как те две бабочки, которых она видела сегодня, так же неслышно, как течет река, и никакие земные узы больше не сдерживают их упоительного полета.

Один за другим угасали огни ярмарки; старая лягушка с выпученными печальными глазами, которые светились в лунном свете, как драгоценные камни, выскочила из травы подле них и бесшумно ускакала; сверкающая гладь реки заволоклась серовато-белым туманом, потускнев, как тускнеет зеркало от дыхания, потом кружевное покрывало тумана окутало берег, сумрачные тени наполнили долины, земля стала холоднее, остывая под одевшим ее седым туманом. Туман глушил все звуки, и тишина стояла мертвая. Длилась она долго, пока где-то в реке не плеснула форель, подскочив и тяжело шлепнувшись обратно в воду.

При этом звуке Мэри шевельнулась и, наполовину придя в себя, шепнула чуть слышно:

– Денис, люблю тебя! Милый, милый мой!.. Но уже поздно, очень поздно. Нам надо идти.

Она с трудом подняла голову, медленно пошевелила онемевшими, как от наркоза, руками и ногами. Но вдруг молнией пронизало мозг воспоминание об отце, доме, сознание того, что произошло с ней. Вскочила испуганная, ужасаясь самой себе.

– Боже, что я наделала! Отец!.. Что будет с нами? – вскрикнула она. – Я безумная, что пошла сюда с тобой.

Денис тоже поднялся с земли.

– Ничего худого с тобой не случится, Мэри, – сказал он, пытаясь ее утешить. – Я люблю тебя. И позабочусь о тебе.

– Пусти меня, – возразила она, и слезы потекли по ее бледному лицу. – Ох, мне надо вернуться домой раньше, чем *он*, иначе я останусь на улице всю ночь и должна буду бродить, как бездомная.

– Не плачь, родная, – умолял Денис. – Мне больно видеть твои слезы. Не так уж поздно – еще нет одиннадцати. Не бойся, во всем виноват я, я и буду отвечать.

– Нет, нет! – вскрикнула Мэри. – Это я виновата. Мне совсем не следовало уходить из дому. Я ослушалась отца. Страдать буду я одна.

Денис обнял одной рукой дрожавшую девушку и, заглянув ей в глаза, сказал твердо:

– Тебе не придется страдать, Мэри. Прежде, чем мы расстанемся, я хочу, чтобы ты поняла вот что: я тебя люблю, люблю больше всего на свете. И женюсь на тебе.

– Да, да, – всхлипывала она. – Только отпусти меня. Мне надо бежать домой. Отец меня убьет. Если он сегодня нигде не задержится и придет домой раньше меня, он сделает что-нибудь ужасное со мной… с нами обоими.

Она кинулась бежать по тропинке, скользя и спотыкаясь оттого, что так спешила, а Денис бежал за ней, пытаясь успокоить ее и утешить нежнейшими словами. Но хотя она от этих слов и перестала плакать, она мчалась все так же быстро и молча, пока они не добежали до города. Здесь Мэри круто остановилась.

– Не ходи дальше, Денис, – сказала она, тяжело дыша. – Мы можем встретить *его*… отца.

– Да ведь на дороге так темно, – возразил он. – Я боюсь отпустить тебя одну.

– Ты должен уйти, Денис! А вдруг он увидит нас вместе!

– Да как же ты пойдешь одна в темноте?

– Ну что ж делать! Я буду бежать всю дорогу.

– Но ты заболеешь, если будешь так мчаться, Мэри. Посмотри, какая тьма… И дорога так пустынна.

– Пусти меня! Так надо. Я дойду одна. Прощай!

В последний раз руки их сошлись, и Мэри убежала от него. Ее фигура исчезла, словно растаяла во мраке.

Денис вглядывался в сплошную темноту, тщетно стараясь не потерять из виду быстро бегущую девушку; не решаясь ни окликнуть Мэри, ни побежать за ней, он растерянно поднял руки, словно умоляя ее вернуться, но затем медленно опустил их и, долго простояв в такой нерешительности, в конце концов повернулся и, удрученный, побрел домой.

Тем временем Мэри в паническом страхе, преодолевая усталость, мчалась по той самой дороге, которую в начале этого вечера прошла так легко. Ей казалось, что за эти несколько часов она прожила целый век. Подумать только, она, Мэри Броуди, поздно вечером одна на улице! Звук ее одиноких шагов пугал ее, раздавался громко в тишине, как немолчное обвинение, которое мог услышать ее отец, мог услышать кто угодно; он вопил о ее безумии, о предосудительности положения, в котором она очутилась. Денис хочет жениться на ней! Он, видно, тоже сошел с ума; он представления не имеет о том, какой человек ее отец и какую жизнь она ведет дома. Эхо ее шагов точно дразнило ее, твердя, что она поступила как безумная, бросившись очертя голову в такое опасное приключение, и самая мысль о любви к Денису казалась теперь жуткой и мучительной нелепостью.

Приближаясь к дому, она неожиданно заметила впереди себя человеческую фигуру и при мысли, что это может быть ее отец, оцепенела от ужаса. Правда, он чаще всего возвращался из клуба после одиннадцати, но бывало, что приходил и раньше. Подходя все ближе, молча догоняя неизвестного, Мэри говорила себе, что это, несомненно, отец. Но вдруг у нее вырвался стон облегчения: она узнала брата и, позабыв осторожность, бросилась к нему.

– Мэт! О Мэт! Подожди! – прокричала она, задыхаясь, и, налетев на него, ухватилась за его плечо, как утопающая.

– Мэри! – воскликнул Мэт, сильно вздрогнув, не веря своим глазам.

– Да, я, Мэт. Слава богу, это ты, а я сначала подумала, что это отец.

– Но… Господи помилуй, Мэри, что ты делаешь здесь в такой час? – продолжал Мэт, шокированный и удивленный. – Где ты была?

– Об этом после, Мэт. Скорее войдем, пока не пришел отец. Пожалуйста, Мэт, голубчик! Не спрашивай меня пока ни о чем.

– Да что ты это затеяла? Где ты была? – твердил Мэт. – Что подумает мама?!

– Мама думает, что я легла спать или что я читаю у себя в комнате. Она знает, что я часто читаю поздно, дожидаясь тебя.

– Мэри, какая ужасная выходка! Я просто не знаю что и думать. Встретить тебя на улице ночью! Какой срам!

Он прошел несколько шагов, потом вдруг, как бы под влиянием внезапной мысли, круто остановился.

– Было бы очень неприятно, если бы мисс Мойр узнала об этом. Позор! Такое поведение моей сестры уронило бы и меня в ее глазах.

– Не говори ей ничего, Мэт! И никому не говори. Скорее войдем! Где твой ключ? – торопила его Мэри.

Бормоча что-то себе под нос, Мэтью взошел на крыльцо, и, видя, что он отпирает дверь, Мэри вздохнула с облегчением: раз дверь не заперта на засов, значит отца еще нет. В доме было тихо, никто ее не поджидал, никто не осыпал ее обвинениями и укорами, и, убедившись, что она каким-то чудом спасена, Мэри в горячем порыве благодарности взяла брата под руку, и они бесшумно начали взбираться по темной лестнице наверх.

Очутившись наконец у себя в спальне, она тяжело перевела дух, и пока она уверенно пробиралась ощупью среди знакомых предметов, самое прикосновение к ним ее успокаивало. Слава богу, она в безопасности! Никто не узнает! Она поскорее разделась в темноте, скользнула в постель, и сразу же прохладные простыни обласкали ее усталое, разгоряченное тело, а мягкая подушка – болевшую голову. Она погрузилась в блаженное забытье, сомкнулись дрожащие веки, расправились пальцы рук, голова склонилась к плечу, дыхание стало спокойным и ритмичным, и с последней волнующей мыслью о Денисе она уснула.

III

Джемс Броуди проснулся утром, когда в окно спальни брызнул поток солнечных лучей. Он оттого и выбрал для спальни эту комнату в задней половине дома, что какой-то звериной любовью любил солнце, любил, чтобы яркие утренние лучи ударяли в окно и, будя его, словно просачивались сквозь одеяло в его тело, наливая его бодростью и силой. «Ничего нет полезнее утреннего солнца», – твердил он часто. Это была его любимая поговорка из того запаса мнимо глубоких истин, к которым он охотно прибегал в разговоре, изрекая их с видом авторитетным и значительным. «Утреннее солнце – замечательная вещь, скажу я вам. Им недостаточно пользуются. Но в моей комнате его достаточно, я об этом позаботился!»

Проснувшись, Броуди широко зевнул и блаженно потянулся всем своим массивным телом; некоторое время он с удовольствием наблюдал из-под полуопущенных век за золотистым роем пылинок, плясавших в солнечном луче, затем вопросительно сощурился на каминные часы, стрелки которых показывали только восемь; убедившись, что можно еще с четверть часа полежать, он зарылся головой в подушку, повернулся на другой бок и барахтался под одеялами, как громадный дельфин. Но скоро голова его снова вынырнула наружу.

Несмотря на чудесное утро, на щекотавший ноздри аппетитный запах, поднимавшийся снизу, где жена варила овсянку, Броуди не испытывал того полного довольства, какое, по его мнению, мог бы сегодня испытывать.

Хмурясь и, видимо, пытаясь отыскать причину своего недовольства, он повернулся, и взгляд его упал на углубление среди простынь на другой половине кровати, оставленное телом его жены, которая, как всегда, встала уже целый час тому назад, чтобы все приготовить и подать завтрак на стол в ту минуту, когда хозяин сойдет вниз.

«Ну что толку в такой женщине! – подумал Броуди с возмущением. – Разве это жена для такого человека, как я?»

Пускай она стряпает, моет и убирает, штопает ему носки, чистит сапоги… эх, пускай хотя бы лижет ему сапоги, – но ведь как женщина она уже никуда не годится. К тому же со времени последних родов – когда она родила ему Несси – она постоянно болеет и вечно киснет и хнычет, оскорбляя его инстинкты здорового и крепкого мужчины своим вялым бессилием, вызывая в нем отвращение своей хилостью. Незаметно для нее, например, по утрам, когда она, встав с постели раньше мужа, бесшумно, словно крадучись, одевалась, он уголком глаза наблюдал за ней с чувством, похожим на омерзение. Не далее как в последнее воскресенье, застав ее в тот момент, когда она прятала в постели какую-то испачканную принадлежность своего туалета, он заорал на нее как бешеный: «Нечего из моей спальни делать мусорную свалку! Мало того что я терплю здесь тебя, так ты еще будешь совать мне в лицо свое грязное тряпье!»

Он с горьким озлоблением признавался себе, что она ему давно противна; самый запах ее тела был ему ненавистен, и, не будь он порядочным человеком, он бы давно поискал на стороне то, чего ему нужно. Что это ему снилось нынче ночью? Он плотоядно выпятил нижнюю губу и сильно напряг ноги, смакуя этот сон, припоминая, как он гнался по лесу за дразнившей его молодой бесстыдницей, которую спасала от него быстрота ног, несмотря на то что и он мчался как олень. Она неслась быстрее лани. Ее длинные волосы летели за ней по ветру, и никакая одежда не стесняла ее движений – на ней не было и нитки. Но, убегая так быстро, она все же оборачивалась и усмехалась ему обольстительной, дразнящей усмешкой. «Эх, попадись она только мне в руки…» – подумал он, давая волю своей фантазии. Он лежал, грея на солнце большое тело, губы раздвинулись в бесстыдную и вместе сардоническую улыбку. «Да, попадись она мне в руки, она бы у меня запела по-иному».

Вдруг он увидел, что уже четверть девятого, и сразу вскочил с постели, надел носки, брюки и домашние туфли, снял бывшую на нем длинную ночную сорочку. Его обнаженный

торс блестел, мускулы плеч и спины, как гибкие узловатые веревки, ходили под белой кожей, лоснившейся как шелк, и только на груди густо росли темные волосы, как мох на скале.

С минуту он стоял перед небольшим зеркалом, висевшим над умывальником, любуясь блеском своих глаз и крепкими белыми зубами, поглаживая пальцами колючую щетину на широком подбородке. Затем, все еще голый по пояс, отвернулся от зеркала, взял ящичек красного дерева, в котором лежало семь специально отточенных бритв из шеффилдской стали, с костяными ручками – на каждой был указан один из дней недели. Броуди осторожно вынул ту, на ручке которой было вырезано «пятница», проверил остроту ногтем большого пальца и принялся медленно править бритву на ремне, висевшем тут же на предназначенном для него крюке. Ремень был толстый и, как не раз имели случай убедиться в детстве Мэри и Мэтью, изрядно жесткий. Броуди медленно водил бритвой вверх и вниз по его буро-коричневой поверхности, пока лезвие не было великолепно отточено. Затем он подошел к двери, взял принесенную вовремя, минута в минуту, горячую воду для бритья, от которой поднимался пар, вернулся к зеркалу, густо намылил лицо и начал бриться медленно, точно рассчитанными движениями. С методической аккуратностью выбрил гладко подбородок и щеки, осторожно обходя блестящие завитки усов и проводя бритвой по тугой коже такими твердыми, размеренными движениями, что в тишине спальни слышались правильно чередовавшиеся хрустящие звуки. Выбрившись, он обтер бритву бумажкой из специально нарезанной стопки (приготовление и пополнение которой было обязанностью Несси) и уложил в футляр, затем, вылив воду из кувшина в таз, с азартом вымылся холодной водой, плеская ее себе в лицо, поливая полными пригоршнями грудь, голову и плечи. Такое усердное умывание холодной водой, даже в самые холодные зимние утра, вошло у него в неизменную привычку и, как он утверждал, прекрасно влияло на здоровье, предохраняя от насморка, которому была так подвержена его супруга. «Я люблю холодную воду, – хвастал он частенько, – и чем она холоднее, тем лучше. Ого! Я способен проломить лед, чтобы окунуться, и чем больше вода леденит, тем больше я потом разогреваюсь. А после этого я не стучу зубами, и у меня не течет из носа, как у некоторых других, которых я мог бы вам назвать. Нет, нет! У меня только разогревается кровь. Побольше холодной воды – от нее человек здоровее».

Умывшись, он крепко растер грудь и руки жестким мохнатым полотенцем, насвистывая сквозь зубы и чувствуя, как бодрость и теплота разливаются по всему телу и отчасти разгоняют скверное настроение, в котором он проснулся.

Он закончил туалет, надев, все с той же методической аккуратностью, сорочку дорогого тонкого полотна, крахмальный воротничок фасона «Гладстон», галстук с узором «птичий глаз», заколотый золотой булавкой в виде подковы, вышитый серый жилет и длинный сюртук отличного тонкого сукна. Потом сошел вниз.

Завтракал он всегда один. Мэтью уходил из дому в шесть, Несси – в половине девятого, бабушка никогда не вставала раньше десяти часов, а миссис Броуди и Мэри съедали что-нибудь на скорую руку, когда захочется, в тех темных закоулках, где происходила стряпня; так и выходило, что глава семьи садился за свою большую тарелку каши в гордом одиночестве. Ел он всегда с большим удовольствием, а к завтраку, полный утренней бодрости, приходил с особенным аппетитом, и теперь жадно накинулся на кашу, потом принялся за два свежих яйца всмятку (которые полагалось варить строго определенное количество минут и подавать уже вылитыми в чашку), большие мягкие булочки, намазанные толстым слоем масла, и кофе, который он очень любил и который только ему одному в доме и подавался.

Мэри, прислуживая ему во время еды, бесшумно ходила из кухни в посудную и обратно. Поглядев на нее из-под опущенных век, он заметил, как она бледна, но не сказал ничего: такова была его домашняя политика – не позволять женщинам считать себя больными. В данном случае он даже почувствовал внутреннее удовлетворение, приписав подавленный вид дочери и темные круги под ее глазами своей энергичной атаке на нее накануне вечером.

Позавтракав в молчании, он, как обычно, вышел из дому ровно в половине десятого и минуту постоял у ворот, с гордостью озирая свои владения. Удовлетворенным взглядом обежал он всю небольшую усадьбу, отмечая про себя, что на посыпанном гравием дворе не пробивалось ни травинки, на окраске не было ни пятнышка, на сером мрачном камне – ни малейшего дефекта, и с величайшим самодовольством любуясь своим созданием. Ибо дом весь был его созданием. Пять лет тому назад он купил этот участок земли и подробно объяснил подрядчику Юри, какой дом он хочет себе построить, показав ему грубо сделанные им самим чертежи. Юри, человек положительный и прямой, посмотрел на него с удивлением и сказал:

– Будь вы каменщик, вы бы не носились с такими затеями. Но вы, я вижу, фантазер. Да вы представляете себе, как будет выглядеть этот проект в камне и известке?

– Это мое дело, Юри. Не вы, а я буду жить в этом доме, – возразил Броуди со спокойным упрямством.

– Но он потребует много лишнего труда и денег. Взять хотя бы расходы на прорезку такого парапета! А какой в этом прок? – И Юри разложил перед собой на столе карандашный эскиз.

– Расходы мои, а не ваши, Юри, – снова обрезал его Броуди.

Подрядчик нахлобучил шапку, в недоумении почесал голову карандашом, но все продолжал его увещевать:

– Не может быть, чтобы вы это предлагали серьезно, Броуди! Такой дом был бы хорош, если бы он был в десять раз больше, а вы ведь хотите только шесть комнат и кухню. Получится что-то нелепое. Весь город будет смеяться над вами.

– Посмотрим! – угрожающе воскликнул Броуди. – Не завидую тому, кто посмеет открыто смеяться над Джемсом Броуди.

– Да полноте, Броуди, – все уговаривал его Юри, – предоставьте это дело мне, я вам построю хорошую, солидную виллу вместо этой пародии на замок, с которой вы носитесь.

Глаза Броуди приняли странное выражение, в них вспыхнул мрачный огонь.

– Выражайтесь повежливее, когда вы говорите со мной, Юри, черт бы вас побрал! Не нужно мне ваших нарядных бонбоньерок. Я хочу иметь дом по своему вкусу. – Но он тотчас же овладел собой и добавил обычным спокойным тоном: – Не хотите – не надо. Я предлагаю вам работу, а если она вам не по душе, так в Ливенфорде найдутся другие подрядчики.

Юри посмотрел на него и свистнул.

– Вот вы как заговорили! Что ж, ладно. Раз вы стоите на своем, я приготовлю план и смету. Упрямый человек всегда останется при своем. Но только помните, что я вас предупреждал. Когда дом будет выстроен, не приходите и не просите меня снести его и строить другой.

– Нет, нет, Юри, не беспокойтесь, – усмехнулся Броуди. – Я приду к вам только в том случае, если вы не сделаете всего так, как я требую, – и тогда вам не поздоровится. А теперь беритесь за дело и не теряйте времени на болтовню.

Планы были изготовлены, просмотрены Броуди, и постройка началась. Дом вырастал с каждым днем на глазах будущего хозяина, который прохладными вечерами приходил сюда следить, точно ли выполняется его проект, пожирал глазами гладкий белый камень, растирал между пальцами известку, проверяя ее качество, поглаживал блестящие свинцовые трубы, взвешивал и одобрительно вертел в руках тяжелые квадратные черепицы. Все делалось из наилучших материалов, и хотя это сильно отозвалось на его кошельке, можно сказать, совсем истощило его, но так как на свои нужды Броуди никогда не жалел денег и копил он их только для этой единственной цели, то он был горд тем, что цель достигнута, что он может теперь выехать из наемного дома на Ливенгрув-плейс, что осуществилось наконец его заветное желание.

К тому же он оказался прав: над домом никто не смеялся открыто.

Однажды вечером, вскоре после того, как дом был закончен, один из компании праздных гуляк, шатавшихся на площади, выступил вперед и заговорил с Броуди.

– Добрый вечер, мистер Броуди. – Он хихикнул, оглянулся на своих товарищей, видимо ища одобрения, потом снова повернулся к Броуди. – Ну, в каком состоянии сегодня ваш замок?

Броуди хладнокровно посмотрел на него.

– В лучшем, чем вы, – отрезал он и с ужасающей силой ударил насмешника кулаком в лицо, затем достал из кармана чистый полотняный носовой платок, вытер им кровь с пальцев и, брезгливо бросив платок на землю подле сваленного его ударом человека, спокойно пошел дальше.

Положение, которое Джемс Броуди занимал в городе, явно изменилось за последние пять лет; с тех пор как он выстроил себе дом, уважение к нему возросло, но его стали еще больше сторониться, поглядывали на него с опаской. Его общественное значение росло, а вместе с ним и одиночество. Он постепенно становился все более заметной фигурой в городе, у него было теперь много знакомых, но ни одного друга.

Постояв у ворот, он бросил последний взгляд на свой дом, выпрямил плечи и зашагал по дороге. Отойдя немного, он заметил в окне одного из соседних домов чье-то лицо, выглядывавшее из-за занавесей, и усмехнулся про себя: это был мелкий бакалейный торговец Петигрю, который только недавно поселился в столь аристократическом соседстве и сразу же, стремясь поднять свой престиж, решил ходить по утрам в город вместе с Броуди. Великий человек в первый раз стерпел эту вольность, но, когда и на второе утро увидел, что какой-то ничтожный мелкий лавочник снова поджидает его, он круто остановился.

– Петигрю, – сказал он спокойно, – уж не обманывают ли меня глаза? Вы снова здесь? Очень любезно с вашей стороны каждый день провожать меня, но лучше не надо. Притом я быстрый ходок. Идите себе своей дорогой и не утруждайте своих кривых ножек, пытаясь не отставать от меня. Прощайте!

Проходя сегодня мимо дома Петигрю, Броуди саркастически усмехнулся при мысли, что теперь нервный Петигрю избегает его, как чумы, и завел обыкновение по утрам следить за ним из окна: только когда он скрывался из виду, Петигрю осмеливался выйти на улицу.

Броуди скоро миновал тихий жилой квартал и вступил в центральную часть города. Здесь, в южном конце Черч-стрит, какой-то ремесленник с сумкой, в которой он нес свои инструменты, проходя мимо, дотронулся до шапки. При этом знаке почтения, оказываемом лишь самым видным людям в городе, Броуди невольно выпятил грудь. «Доброе утро!» – любезно крикнул он, откинув голову в приступе надменной веселости. Завернув за угол, на Хай-стрит, он зашагал вверх по главной улице, держа палку на плече, как солдат ружье. Дойдя до самого верха Хай-стрит, он остановился у невзрачной с виду лавки.

Лавка была старая, грязная, с узкой, неприметной дверью, с одним небольшим окном, в котором не было выставлено никаких образцов товара; окно это с внутренней стороны было затянуто тонкой проволочной сеткой, которая, закрывая его, как маска, открывала вместе с тем тайну лавки, так как на сером фоне сетки выступало написанное потускневшими золотыми буквами на стекле одно-единственное слово: «Шляпы». Итак, это был магазин шляп. И хотя лавка была самой крупной и известной в городе, она как будто стремилась укрыться от людских глаз и стояла несколько в стороне от линии других домов, позволяя им выступать вперед и возвышаться над нею, словно, несмотря на прочность своего положения, желала оставаться незаметной и, насколько возможно, скрыть свое содержимое и все, что происходило внутри, от любопытных глаз. Вывеска над входом тоже стерлась и поблекла от времени и непогод, краска на ней от солнца местами покрылась мелкими трещинами, местами же была смыта дождями. Но на ней все еще можно было разобрать надпись узкими косыми буквами: «Джемс Броуди». Лавка принадлежала Броуди. Он каждое утро неизменно с каким-то удивлением констатировал про себя этот факт и в течение двадцати лет относился к своему предприятию с иронической терпимостью. Конечно, оно было для него единственным средством к жизни, неприглядным источником приличного и приятного существования, это солидное, верное предприятие,

дававшее ему возможность и хорошо одеваться, и беззаботно бренчать деньгами в карманах. Но Броуди относился к нему как человек, который со снисходительным презрением замечает в себе какую-нибудь мелкую, но неприличную слабость. Он, Броуди, – торговец шляпами! Он этого не стыдился, наоборот, – он наслаждался смешной нелепостью этого факта, упивался контрастом между собой и своей профессией, контрастом, который, по его мнению, постоянно должен был всем бросаться в глаза.

Он повернулся и с высокого места, где стоял, озирал улицу, подобно монарху, который показывается народу и милостиво позволяет себя рассматривать. Он, Броуди, – не более как торговец шляпами!

Удивительная нелепость такого положения всегда занимала его мысли, неизменно поражала его. Вот и сейчас, когда он вошел в лавку, чтобы начать свой рабочий день, он внутренне хохотал над этим.

Лавка производила впечатление запущенной, в ней было темно и почти грязно. Во всю длину она разделялась пополам длинным прилавком, который служил барьером между отделением для посетителей и служебными помещениями; на одном конце этого истертого, покрытого зазубринами прилавка стоял ряд подставок из потускневшей меди с надетыми на них шляпами и фуражками разного фасона и цвета. Другим, дальним концом прилавок упирался в стену, и часть его поднималась, открывая доступ к лесенке, которая вела к застекленной двери с надписью на стекле: «Контора». Под этой дверью выступал во все стороны небольшой, имеющий форму полуподковы шкаф из заднего помещения, часть которого отошла под контору. Здесь теперь с трудом умещались гладильная доска и железная печка, сушившая и без того лишенный влаги тяжелый воздух.

В самой лавке стены были оклеены коричневато-красными обоями и украшены несколькими старыми гравюрами. Шляп в лавке было выставлено мало, да и на тех не было ярлычков с указанием цен, а между тем позади прилавка высился ряд больших шкафов красного дерева и длинный ряд полок, на которых до самого потолка громоздились пирамиды картонок.

За прилавком, спиной к этому богатому, но скрытому запасу товаров, стоял молодой человек, наружность которого наводила на мысль о скрытых в нем запасах добродетели. Он был худ и бледен, его лицо своей бескровностью робко протестовало против отсутствия в лавке солнечного света и местами было изрыто почетными рубцами, полученными в непрестанной войне с одолевавшими его фурункулами, неприятной склонностью организма, которую его нежная мать объясняла малокровием и от которой лечила его, постоянно пичкая хинином Пеппера и железом.

Впрочем, его в общем приятного лица ничуть не портили ни эти мелкие недостатки, ни небольшая, но назойливая бородавка, самым неделикатным образом избравшая себе место на кончике носа. Лицо это выгодно оттенялось копной темных волос, всегда торчавших во все стороны, несмотря на то что он усердно их помадил, и так обильно обсыпанных перхотью, что избыток ее, подобно инею, хлопьями лежал на воротнике пиджака. В остальном наружность его была привлекательна, а костюм строго соответствовал социальному положению. Но он распространял вокруг себя специфический кислый запах, вызываемый склонностью к усиленному потению, в особенности ног, – прискорбное, но ничем не преодолимое свойство, из-за которого Броуди по временам выкидывал его вон из лавки через заднюю дверь, выходившую на реку Ливен, посылая ему вдогонку кусок мыла и циничный приказ вымыть благоухающие конечности. Таков был Питер Перри, посыльный, приказчик, помощник, истопник, гладильщик, лакей хозяина и его фактотум – все вместе в одном лице.

При входе Броуди Питер Перри, упираясь руками в прилавок, растопырив пальцы, согнув локти, наклонился всем телом вперед, так что видно было не столько лицо, сколько макушка, и в самозабвении подобострастия ожидал приветствия хозяина.

– Доброе утро, Перри!

– Доброе утро, мистер Броуди, сэр, – ответил Перри с нервной поспешностью, показывая уже немного больше лицо и меньше – волосы. – Сегодня опять прекрасное утро, сэр! Просто удивительно в такое время года! Чудная погода! – Он сделал почтительную паузу и продолжал: – С утра приходил мистер Дрон, сказал, что ему необходимо видеть вас по делу, сэр.

– Дрон? Какого черта ему от меня нужно?

– Не могу знать, сэр. Он сказал, что придет еще раз, попозже.

– Гм! – буркнул Броуди, проходя в свою контору. Здесь он бросился в кресло и, не обращая внимания на несколько деловых писем, лежавших на письменном столе, закурил трубку. Потом сдвинул шляпу на затылок – он никогда ее не снимал в лавке, как бы подчеркивая этим свое привилегированное положение, – и раскрыл газету «Глазго Херолд», предупредительно положенную у него под рукой.

Медленно шевеля губами, читал он передовицу; иногда ему приходилось дважды перечитывать какую-нибудь трудную фразу, чтобы уловить ее смысл, но он упорно продолжал читать. Время от времени он опускал газету и неподвижно смотрел в стену перед собой, напрягая все силы неповоротливого ума, чтобы как следует понять смысл прочитанного. Он каждое утро ставил себе трудную задачу разобраться в политическом содержании передовой статьи «Глазго Херолд»: он считал это обязанностью всякого человека, занимающего солидное положение. Кроме того, читая газету, он запасался вескими аргументами для будущих серьезных разговоров, и этим объяснялось его усердие, несмотря на то что к следующему утру содержание прочитанного совершенно исчезало из его памяти.

Так он упорным трудом одолел уже полстолбца, когда ему помешал чей-то неуверенный стук по стеклу двери.

– Кто там? – крикнул Броуди.

Перри (ибо так стучать мог только Перри) ответил сквозь закрытую дверь:

– К вам мистер Дрон, сэр.

– Какого черта ему нужно? Не знает он, что ли, что я читаю передовицу «Геральд» и не люблю, когда мне мешают!

Дрон, личность унылая и незначительная, стоял тут же за плечом Перри и слышал каждое слово. Это было отлично известно Броуди, и это-то и побуждало его со злобным юмором подавать свои реплики в самой неприятной форме и как можно громче. Со слабой усмешкой он из-за газеты прислушался к происходившему за дверью совещанию вполголоса.

– Мистер Броуди, он говорит, что отнимет у вас не больше минуты, – вкрадчиво уверял Перри.

– Минуту, вот как! Хорошо, если ему уделят и секунду! Я не имею ни малейшего желания его видеть, – все так же громко насмехался Броуди. – Спроси, что ему нужно, и если ничего важного, так пускай этот недоносок побережет свое дыхание, оно ему пригодится для того, чтобы дуть на горячую похлебку.

За дверью снова переговоры шепотом. Перри с энергичной мимикой, которая выразительнее слов, доказывает Дрону, что он сделал в защиту его интересов все, что возможно, и не нарушает его собственной безопасности.

– Поговорите с ним сами в таком случае, – пробормотал он наконец для очистки совести, отказываясь от посредничества и ретируясь обратно за прилавок.

Дрон приоткрыл дверь на какой-нибудь дюйм и заглянул в контору.

– А, вы еще здесь? – заметил Броуди, не отводя глаз от газеты, которую он снова поднял, делая вид, что читает.

Дрон откашлялся и открыл дверь чуточку пошире.

– Мистер Броуди, можно мне потолковать с вами? Я задержу вас только на одну минуточку, не больше, – воззвал он, потихоньку продвигаясь в контору через щель осторожно приоткрытой двери.

– Ну чего вам? – прорычал Броуди, сердито посмотрев на него. – Никаких дел у нас с вами нет, насколько мне известно. Мы с вами – птицы разного полета.

– Я это хорошо знаю, мистер Броуди, – смиренно ответил посетитель. – И по этой самой причине я и пришел к вам. Я пришел, так сказать, за советом и для того, чтобы сделать вам одно маленькое предложение.

– Ну, в чем же дело? Да не вертитесь вы, как курица на горячей сковороде!

Дрон нервно мял в руках шапку.

– Видите ли, мистер Броуди, в последнее время моя торговля шла не особенно хорошо… И я пришел поговорить насчет моей лавки, которая находится рядом с вашей.

Броуди снова посмотрел на него:

– Это та полуразвалившаяся лавчонка, что пустует вот уже три месяца? Кто же ее не заметит – она торчит на нашей улице, как бельмо на глазу.

– Да, она давно пустует, – кротко согласился Дрон. – Но все-таки это в некотором роде имущество, и, по правде сказать, почти единственное, какое у меня еще осталось… и я уже совсем было отчаялся, да мне вдруг пришла одна мысль, и я подумал, что она, может быть, вас заинтересует…

– Ну еще бы! – фыркнул Броуди. – Как тут не заинтересоваться! Такая умная голова всегда что-нибудь придумает интересное! Ну, в чем же состоит ваша великая мысль?

– Я подумал… – робко начал Дрон, – что у вас такая большая торговля, а лавка, пожалуй, для нее маловата, так не пожелаете ли вы расширить ее: снять мою лавку и сделать одно большое помещение, быть может, с одной зеркальной витриной или с двумя…

Броуди долго и саркастически смотрел на него.

– Скажите пожалуйста! Так это ради расширения моей торговли вы все придумали и приходили сюда дважды сегодня утром? – произнес он наконец.

– Разумеется, нет, мистер Броуди. Я ведь вам только что объяснил, что мне туго приходится в последнее время: то да другое, да жене опять скоро родить, так что я решился сдать внаем свою лавку.

– Нет, это уж слишком, право! – Броуди почти мурлыкал от удовольствия. – Вот такие жалкие пачкуны, как вы, всегда обзаводятся большой семьей. Надеюсь, вы не возлагаете на меня ответственность за это новое прибавление семейства? О, я знаю, вы любите своих многочисленных отпрысков. Говорят, у вас их столько, что вам самому не сосчитать… Но я-то, – продолжал он уже другим тоном, – тут ни при чем. Я своему делу хозяин и веду его так, как нахожу нужным. Скорее я стал бы, кажется, давать в придачу к проданным шляпам мешки с конфетами, чем завел бы крикливую зеркальную витрину. Черт возьми, разве вы не знаете, что самые видные люди в городе – мои постоянные покупатели и друзья? Ваша пустая лавчонка вот уже много месяцев торчит, словно прыщ, рядом с моим солидным предприятием. Сдайте вы ее, ради бога, сдайте обязательно! Можете сдать ее хоть самому дьяволу, но сдать ее *мне* вам никак не удастся! А теперь ступайте отсюда и никогда больше не надоедайте мне такими пустяками. Я человек занятой, и некогда мне выслушивать ваши дурацкие рассуждения.

– Слушаю, мистер Броуди, – отвечал тихо Дрон, теребя в руках шапку. – Извините, если я вас чем обидел. Я подумал, что спрос не беда… да с таким суровым человеком, как вы, трудно говорить.

Он с безутешным видом отвернулся, собираясь уйти, но в эту минуту в комнату влетел взволнованный Перри.

– Кабриолет сэра Джона у дверей, мистер Броуди, – пролепетал он. – Только что на моих глазах подъехал!

Приказчик обязан был обслуживать обыкновенных покупателей, так сказать, массы, не беспокоя хозяина, но когда лавку посещала какая-нибудь важная персона, он, помня приказ, мчался за хозяином, как встревоженная борзая.

Броуди поднял брови и взглянул на Дрона, как бы говоря: «Вот видите!» Затем, крепко взяв последнего за локоть (ибо он не хотел, чтобы сэр Джон застал его в таком неподобающем обществе), вывел его из конторы, протащил через лавку и последним толчком выбросил за дверь. Окончательно пришибленный позором этого последнего, неожиданного и сильного пинка, Дрон споткнулся и, упав навзничь, во весь рост растянулся на земле в тот самый миг, когда сэр Джон Лэтта выходил из экипажа.

Лэтта с громким хохотом вошел в лавку и подошел к Броуди.

– Ну, Броуди, давно я не видывал ничего забавнее! Какое у него было лицо, у бедняги! – воскликнул он, ударяя себя по ляжке перчатками. – Счастье еще, что он не ушибся. Это, вероятно, докучливый кредитор, да? – добавил сэр Джон лукаво.

– Вовсе нет, сэр Джон! Просто болтун, который всегда всем надоедает.

– Вот этот маленький человечек? – Сэр Джон одобрительно поглядел на Броуди. – А вы, милейший, и сами не знаете, какая у вас сила! Вы страшно сильный варвар!

– Я только чуть задел его пальцем, – самодовольно отозвался Броуди, гордясь тем, что удостоился внимания такого видного человека, почтенного главы знаменитой фирмы Лэтта. Внимание это было сладким фимиамом для его самолюбия.

– Я мог бы одной рукой поднять на воздух дюжину таких, как он, – добавил он небрежно, – да не стоит руки марать. Это ниже моего достоинства.

Сэр Джон Лэтта смотрел на него с легкой иронией.

– А знаете, Броуди, вы – оригинальный субъект. Должно быть, оттого мы вас так и отличаем. В теле Геркулеса душа… гм… – Он усмехнулся. – Ну да с вами ведь можно говорить прямо. Слыхали, конечно, ходячую фразу «Odi profanum vulgus et arceo»?

– Совершенно правильно! Совершенно правильно! – благодушно подхватил Броуди. – Вы всегда умеете складно сказать, сэр Джон. Что-то в этом роде я читал сегодня утром в «Геральд». Вполне с вами согласен. – Он понятия не имел, что хотел сказать сэр Джон.

– Однако вы не слишком увлекайтесь, Броуди, – продолжал сэр Джон, предостерегающе качая головой. – Иной раз и пустяк имеет серьезные последствия. Вы этак, пожалуй, всех в городе перекалечите. Нет, свои баронские замашки вы уж лучше оставьте. Надеюсь, вы меня понимаете? Однако, – добавил он, резко меняя тон на более сухой и официальный, – я не могу задерживаться, очень спешу на заседание. Мне нужна панама. Настоящая, конечно. Никогда еще с тех пор, как я уехал из Барбадоса, я не страдал от солнца так, как сейчас. Если нужно, выпишите из Глазго. Моя мерка у вас имеется.

– Вам сегодня же будут доставлены в Ливенфорд-хаус лучшие панамы на выбор, – с готовностью ответил Броуди. – Я не доверю вашего заказа моему персоналу, я сам им займусь.

– Отлично. Да, кстати, Броуди, – он остановился на пути к дверям, – чуть не забыл: мои представители в Калькутте пишут, что готовы принять вашего сына. Он может выехать на «Ирравади» четырнадцатого июня. Это почтовый пароход в тысячу девятьсот тонн. Красивое судно! Наши люди позаботятся о том, чтобы вашему сыну оставили койку.

– Это более чем любезно с вашей стороны, сэр Джон, – сладко промурлыкал Броуди. – Не знаю, как вас и благодарить. Я вам бесконечно обязан за то, что вы уделяете мне столько внимания.

– Пустяки, пустяки, – рассеянно возразил тот. – У нас там множество молодых людей, но они нужны нам в доках. Климата бояться нечего, но жизнь в Индии такова, что ему придется быть начеку. Молодежь там иногда сбивается с пути. Я поговорю с ним, если будет время. Надеюсь, он вас не осрамит. Кстати, как поживает ваша красавица-дочь?

– Очень хорошо.

– А вторая – та способная девчурка?

– Превосходно, сэр Джон.

– А миссис Броуди?

– Благодарю вас, недурно.

– Очень рад. Ну, я ухожу. Так не забудьте же относительно шляпы.

Красивый, сухощавый, с наружностью патриция, он сел в кабриолет, взял вожжи из рук грума и помчался по Хай-стрит. Гладкие, лоснящиеся бока лошади так и блестели, яркие огни зажигали искры в мелькающих спицах, сверкающем металле, в начищенной кокарде грума и на глянцевитом лакированном кузове.

Броуди воротился с порога, потирая руки, и, расширенными от тайного радостного возбуждения глазами глядя на Перри, который все время маячил поникшей неясной тенью в глубине лавки, закричал с непривычной словоохотливостью:

– Слышал, какой мы вели разговор? Замечательно, а? Было для чего тебе навострить твои длинные уши! Впрочем, я думаю, добрая половина сказанного выше твоего понимания. И латыни ты не знаешь… Но ты слышал, что сэр Джон сказал насчет службы для моего сына и как он расспрашивал меня обо всей семье? Отвечай же, ты, несчастный болван! – Броуди повысил голос. – Слышал, как сэр Джон Лэтта разговаривал с Джемсом Броуди?

– Слышал, сэр, – пробормотал, заикаясь, Перри.

– Видал, как он со мной обращался? – шепотом допрашивал Броуди.

– Как же, мистер Броуди, видел, – отвечал приказчик, осмелев, так как понял, что ему не ставят в вину подслушивание. – Я не хотел… я не думал подслушивать или следить за вами, но я смотрел на вас обоих, сэр, и совершенно с вами согласен. Сэр Джон хороший человек. Он был очень добр к моей матери, когда отец умер так внезапно. Да, конечно, мистер Броуди, у сэра Джона для всякого найдется и доброе слово, и помощь.

Броуди с презрением посмотрел на него.

– Тьфу! – бросил он пренебрежительно. – Что за бред ты несешь, безмозглый дурак! Ничего ты не понял, червяк несчастный!

Не обращая внимания на убитый вид Перри после этой реплики и сохраняя все ту же дерзко-высокомерную и повелительную мину, он поднялся обратно к себе в контору, сел в кресло и, собирая листы утренней газеты, смотрел на них невидящим взглядом и тихонько бурчал про себя, как человек, который шутливо и в то же время серьезно тешится тщательно скрытой заветной тайной.

«Не понимают они. Не понимают!»

Целую минуту он сидел так, тупо уставясь в пространство, и в глубине его глаз мерцал слабый огонек. Потом резко мотнул головой, как будто могучим усилием воли освобождаясь от настроения, которого опасался, встряхнулся всем телом, как громадный пес, и, снова овладев собой, принялся спокойно и сосредоточенно читать газету.

IV

– Мэри, поставь чайник на огонь. Мы вернемся как раз вовремя, чтобы напоить Мэта чаем до его ухода к Агнес, – сказала миссис Броуди, чопорно поджимая губы и натягивая свои черные лайковые перчатки. Затем прибавила: – Смотри, чтобы он закипел, мы скоро вернемся.

Миссис Броуди была одета для одного из своих редких выходов в город, и в черном широком пальто, в шлемоподобной шляпе с перьями казалась до странности не похожей на самое себя. Рядом с ней стоял Мэтью, неуклюже-застенчивый и чопорный в своем новом, с иголочки, костюме, таком новом, что, когда Мэтью стоял неподвижно, складки брюк держались прямо и остро торчали, как лезвия параллельно поставленных мечей. Оба, и мать и сын, имели вид необычный для буднего дня, но случай был настолько из ряда вон выходящий, что оправдывал самые необычные явления: это был канун отъезда Мэтью в Калькутту. Два дня тому назад он в последний раз отложил перо и снял с вешалки шляпу в конторе на верфи и с тех пор находился в непрерывном движении и состоянии странной нереальности, когда жизнь похожа на смутный сон, а в минуты пробуждения находишь себя в положениях и непривычных, и смущающих. Наверху, в его комнате, стоял уложенный сундук, и вещи в нем были пересыпаны шариками камфары, столь многочисленными, что они попали даже внутрь мандолины, и столь благоухающими, что во всем доме пахло, как в новой ливенфордской больнице, и запах этот встречал Мэтью, когда он приходил домой, нестерпимо напоминая об отъезде. В сундуке имелось все, чего мог бы пожелать самый опытный турист, начиная со шлема для защиты от солнца, самого лучшего, какой можно было достать, – подарка отца, и Библии в сафьяновом переплете – подарка матери, и кончая патентованной фляжкой с автоматическим затвором, полученной от Мэри, да карманным компасом, купленным Несси на деньги, которые она скопила, получая каждую субботу пенни.

Отъезд был уже на носу, и в последние дни Мэтью испытывал сильное и неприятное томление в животе, где-то вблизи пупка. Если бы это зависело от него, он бы охотно, жертвуя своими интересами, отказался от таких сильных ощущений, но, как нервный новобранец перед сражением, он силой обстоятельств лишен был возможности отступить. Львы, какую-нибудь неделю назад занимавшие его воображение и не сходившие у него с языка, когда ему хотелось произвести впечатление на Мэри и маму, теперь возвращались с рычанием и терзали его во сне. Его не утешали постоянные уверения людей, бывавших на верфи, что Калькутта уж во всяком случае побольше Ливенфорда, и он завел теперь привычку каждый вечер перед сном проверять, не забралась ли какая-нибудь коварная змея к нему под подушку.

На миссис Броуди ожидаемое событие действовало весьма возбуждающе: наконец-то она увидела себя в положении, достойном героини какого-нибудь из ее любимых романов. Уподобляясь римской матроне, со спартанским мужеством отдающей своего сына государству, или (что еще трогательнее) матери-христианке, отправляющей нового Ливингстона[2] на славный подвиг, она изменила своей обычной кроткой приниженности и держалась с благородным достоинством. Она укладывала и снова распаковывала вещи сына, строила планы, ободряла, утешала, увещевала и пересыпала свои речи текстами из Библии и молитвенника.

Перемена в ней не укрылась от глаз Броуди, и он иронически наблюдал это временное превращение.

– Ты делаешь из себя посмешище, старая, – ворчал он на нее, – всеми этими фокусами, и кривлянием, и возней с твоим великовозрастным болваном, и чаепитиями да закусками каждые полчаса. Глядя на тебя, можно подумать, что ты королева Виктория. Ты генерала провожаешь на войну, что ли? Ходит надутая, как свиной пузырь! Я отлично знаю, чем все это кон-

[2] *Давид Ливингстон* – миссионер и исследователь Африки.

чится. Как только он уедет, ты свалишься, как пустой мешок, и будешь лишней обузой для меня. Тьфу! Сохрани же ты, ради бога, хоть немножко разума в твоей глупой башке!

Мама видела его холодность, равнодушие, даже черствость, но все же робко возражала:

– Полно тебе, отец, надо же проводить мальчика как следует. Ему предстоит большое будущее.

И после этого она, хотя уже потихоньку от мужа, но сознательно, из чувства оскорбленной справедливости, удваивала свои заботы о многообещающем молодом пионере.

Натянув перчатки так, что они в совершенстве обрисовывали узловатость ее рук, она спросила:

– Ты готов, Мэт, голубчик? – тоном такой искусственной веселости, что у Мэтью кровь застыла в жилах.

– Мэри, мы идем в аптеку, – продолжала она словоохотливо. – Преподобный мистер Скотт сказал недавно Агнес, что лучшее средство против малярии, просто чудодейственное средство, – это хинин, так что мы идем заказать несколько порошков.

Мэтью не говорил ничего, но в его воображении проносились жуткие картины: он уже видел себя измученным лихорадкой, лежащим в болоте, где кишмя кишат крокодилы, и, уныло подумав, что несколько жалких порошков – весьма сомнительная защита от таких зол, он мысленно с раздражением отверг совет преподобного джентльмена. «Откуда он знает? Он никогда там не был. Ему-то хорошо говорить!» – думал он с возмущением, в то время как миссис Броуди, взяв его под руку, уводила из комнаты, как упиравшуюся жертву.

Когда они ушли, Мэри налила воды в чайник и поставила его на огонь. Она казалась расстроенной – вероятно, от мысли о разлуке с братом. Всю последнюю неделю настроение у нее было крайне подавленное, что также естественно можно было бы объяснить сестринской привязанностью к Мэтью. Однако – странное совпадение! – ровно неделя прошла со времени ее свидания с Денисом на ярмарке, и с тех самых пор она не видела его, несмотря на то что очень тосковала. Это было невозможно, потому что Денис уехал на север по делам фирмы. Мэри знала это, так как он написал ей письмо из Перта – письмо, получение которого совершенно потрясло ее. Письма вообще бывали большим событием в ее жизни, и в тех редких случаях, когда она их получала, они непременно прочитывались всеми в доме, но на этот раз, к счастью, она первая сошла вниз утром, и никто не видел ни письма, ни внезапного выражения трепетной радости на ее лице, так что Мэри избегла расспросов и тайна ее не была открыта.

Какое это было счастье – получить весть от Дениса! С невольной внутренней дрожью она подумала о том, что этот листочек бумаги Денис держал в руках, тех самых руках, которые так ласково касались ее, что он, должно быть, заклеивая конверт, смочил его край губами, которые прижимались к ее губам. И, читая письмо за запертой на ключ дверью своей спаленки, Мэри краснела даже здесь, наедине, от пылких, нежных слов, которые написал Денис. Ей стало ясно, что он хочет жениться на ней и что, не подумав о могущих встретиться препятствиях, он ничуть не сомневается в ее согласии.

Теперь, сидя одна в кухне, она вынула письмо из-за корсажа и принялась в сотый раз перечитывать его.

Денис горячо уверял, что изнемогает от тоски по ней, что не может жить без нее, что жизнь для него отныне лишь бесконечное ожидание того часа, когда он увидится с ней, будет близ нее, будет с нею всегда. Читая, Мэри вздыхала от страстной печали. И она тоже изнемогала от тоски по Денису. Десять дней прошло с той ночи у реки, и каждый день казался унылее, горестнее предыдущего!

В первый день она чувствовала себя больной и физически разбитой, воспоминания о ее отчаянной смелости, о неподчинении отцу, вызове, брошенном всем священным канонам ее воспитания, слились как бы в один удар, поразивший ее. Но время шло, второй день сменился третьим, а она все еще не виделась с Денисом, и чувство вины потонуло в новом чувстве: ей

недоставало Дениса, она забыла о своем чудовищном проступке, охваченная властной потребностью видеть его. На четвертый день, после того как она в грустном смятении так долго пыталась проникнуть в неведомые и неосознанные глубины пережитого, что оно стало ей казаться странным и мучительным сном, пришло письмо Дениса и сразу вознесло ее на вершину экстаза и радостного облегчения. Значит, он все-таки любит ее! Радость от этой ошеломительной мысли заслонила в памяти все остальное. Но в последовавшие за этим дни Мэри постепенно спускалась с небес на землю, и сейчас она, сидя в кухне, думала о том, что никогда ей не разрешат встречаться с Денисом, и спрашивала себя, как ей жить без него и что будет с нею.

В ту минуту, когда она размышляла так, неосторожно держа письмо в руке, незаметно вошла старая бабушка.

– Что это ты читаешь? – внезапно спросила она, подозрительно глядя на Мэри.

– Ничего, бабушка, это так… пустяки, – вздрогнув, поспешно пробормотала Мэри и, смяв бумажку, сунула ее в карман.

– А мне показалось, что это письмо и ты что-то очень торопилась его спрятать! Вы, нынешние девушки, все мечтаете о какой-то ерунде да хандрите… Жаль, что при мне нет очков. Я бы живо докопалась, в чем тут дело.

Она замолчала, злорадно занося на скрижали памяти результат своих наблюдений, и в заключение спросила:

– Скажи-ка, а где этот слюнтяй, твой братец?

– Пошел с мамой в аптеку за хинином.

– Ба! Не хинина ему не хватает, а смекалки. Ее понадобилось бы целое ведро, чтобы сделать из него человека. Ей-богу, хорошая порция очищенной касторки да капля водки будут ему полезнее хинина там, куда он едет… Очень уж много разговоров тут в последнее время, а мне недосуг ими заниматься. В доме все пошло вверх дном из-за таких пустяков. А что, Мэри, чай будет сегодня пораньше? – Она с надеждой щелкнула зубами, чуя, как хищник, близость пищи.

– Не знаю, бабушка, – ответила Мэри.

Беззастенчивая жадность старухи обычно ее не трогала, сегодня же ей, расстроенной и озабоченной, вдруг стало противно. Не сказав больше ни слова, чувствуя, что ей необходимо побыть одной и в менее сгущенной атмосфере, она поднялась и вышла в садик за домом. Она бродила взад и вперед по зеленой лужайке, и ей казалось до странности жестоким то, что жизнь вокруг нее течет по-прежнему, глухая к ее горю и смятению, что бабушка Броуди все так же жадно ждет ужина, день отъезда Мэта неуклонно приближается. Никогда еще Мэри не испытывала такого безнадежного уныния, как теперь, когда она, беспокойно шагая по саду, казалось, начала смутно сознавать, что обстоятельства складываются для нее неблагоприятно, что жизнь поставила ей ловушку. Через окно она увидела, что Мэтью с матерью уже воротились, видела, как суетилась мать, накрывая на стол, потом Мэтью сел и принялся за еду. Какое им дело до того, что у нее, Мэри, лихорадочно бьются тревожные мысли под пылающим лбом, что она жаждет хоть единого слова сочувствия и совета, но не знает, где искать его? Убогое однообразие садика, нелепые очертания их дома бесили ее, она в горьком исступлении жалела, зачем не родилась в семье менее замкнутой, менее взыскательной, более человеческой, твердила себе, что еще лучше было бы ей вовсе не родиться… Отец вставал в ее мыслях как грозный колосс, правивший судьбами всех Броуди, тиранически распоряжавшийся ее жизнью, всегда следивший за ней недремлющим, безжалостным оком. По его приказу оставила она в двенадцать лет школу, которую так любила, чтобы помогать матери вести хозяйство; это он пресекал в самом начале ее дружбу с другими девушками, потому что одна, по его мнению, была ниже ее происхождением, другая жила в доме, пользовавшемся плохой репутацией, а с отцом третьей он поссорился; он запретил ей посещать доставлявшие ей такое наслаждение зимние концерты

в клубе механиков, находя это неподобающим для своей дочери; а теперь он разобьет единственное счастье, которое жизнь дала ей.

Вихрь возмущения взметнулся в ее душе. Думая о несправедливости такого бесчеловечного угнетения, такого безусловного лишения свободы, Мэри с вызовом уставилась на хилые кусты смородины, которые вяло росли в плохой земле у стен сада. Увы, их легче было смутить, чем Броуди! И они тоже, словно подавленные царившим здесь гнетом, утратили мужество вытягивать вверх свои тонкие усики.

Прикосновение к ее плечу заставило Мэри вздрогнуть, несмотря на все ее воинственное настроение. Впрочем, это оказался только Мэтью, которому нужно было сказать ей два слова перед уходом к мисс Мойр.

– Я сегодня вернусь рано, Мэри, – сказал он, – так что ты не беспокойся насчет… ну, ты знаешь… не дожидайся меня. И я уверен, – добавил он торопливо, – что, когда я уеду за границу, ты никогда ни единой душе не проговоришься… я бы ни за что не хотел, чтобы об этом кто-нибудь узнал… и спасибо тебе большое за то, что ты для меня делала.

Неожиданная благодарность брата, вызванная, впрочем, только преждевременным приступом ностальгии и инстинктом осторожности, желанием сохранить свою репутацию и во время отсутствия, все же тронула Мэри.

– Об этом не стоит и говорить, Мэт, – возразила она. – Я с таким удовольствием делала это для тебя. Ты забудешь обо всем там, за границей.

– Да, там у меня найдутся другие заботы, я полагаю.

Никогда еще Мэри не видела брата таким подавленным, утратившим всю свою самоуверенность, и горячая нежность к нему согрела ей сердце. Она сказала:

– Ты идешь к Агнес? Я провожу тебя до ворот.

Идя об руку с ним вдоль стены дома, она думала о том, как не похож этот робкий, неуверенный в себе юноша, шагавший рядом с ней, на того модного городского франта, каким он был еще две недели тому назад.

– Тебе следует подбодриться немного, Мэт, – сказала она ласково.

– Мне что-то не очень хочется ехать теперь, когда отъезд на носу, – заметил как бы вскользь Мэт, решившись на откровенность.

– Ты должен быть доволен, что выберешься отсюда, – возразила Мэри. – Я тоже рада бы уехать. Этот дом для меня словно западня. Я чувствую, что никогда отсюда не вырвусь… и захочу, да не смогу. – Она с минуту помолчала, потом прибавила: – Впрочем, я забыла, ты ведь расстаешься с Агнес. Вот в чем все дело! Вот чем ты так огорчен и расстроен!

– Разумеется, – согласился Мэтью. Собственно, до этой минуты дело не представлялось ему в таком свете, но, когда он обдумал слова Мэри, такое объяснение показалось ему утешительным для его неустойчивого самолюбия.

– А что думает отец насчет тебя и Агнес? – спросила неожиданно Мэри.

Брат удивленно воззрился на нее и ответил, негодуя:

– Не понимаю, что ты хочешь сказать, Мэри. Мисс Мойр – достойнейшая девица, никто не скажет о ней худого слова. И она замечательно красива! Что это тебе вздумалось задать такой вопрос?

– Да так просто, Мэт, – ответила она уклончиво, не желая высказывать ту мысль, которая пришла ей в голову. Агнес Мойр, эта во всех отношениях достойная девица, была только дочерью мелкого и ничем не замечательного кондитера, а так как и сам Броуди, в силу обстоятельств, был лавочником, он не мог отвергнуть Агнес по таким мотивам. Но службу для Мэтью в Калькутте выхлопотал он, и он же настоял на его отъезде. А Мэтью пробудет в Индии пять лет! Молнией мелькнуло в памяти Мэри воспоминание об угрюмой, злорадной насмешке во взгляде отца, когда он в первый раз объявил трепетавшей от ужаса жене и пораженному сыну о своем решении отправить последнего за границу. И только сейчас начал неясно вырисовы-

ваться в сознании Мэри истинный характер отца. Она всегда боялась и почитала его, но теперь, под влиянием внезапного поворота в мыслях, уже начинала почти ненавидеть.

– Ну, я ухожу, Мэри, – сказал между тем Мэтью. – Пока до свидания.

Мэри открыла уже было рот, готовая заговорить, но, в то время как душа ее боролась со смутными подозрениями, взгляд ее упал на испуганную физиономию слабохарактерного брата, тщетно пытавшегося избежать разочарования, и, не сказав ни слова, она дала ему уйти.

Расставшись с Мэри, Мэтью зашагал по улице, снова обретя поколебленную было самоуверенность, которую подогрела мысль, нечаянно поданная ему сестрой. Ну конечно, он просто опасается разлуки с Агнес! Он говорил себе, что теперь наконец знает причину своего подавленного настроения, что люди и с более сильным характером падали духом по менее серьезным причинам, что его печаль делает ему честь как человеку любящему, с благородным сердцем. Он уже снова склонен был чувствовать себя скорее Ливингстоном, чем робким новобранцем. Он принялся громко насвистывать несколько тактов из «Жуаниты», вспомнил о своей мандолине, подумал с некоторой непоследовательностью о дамах, которых встретит на «Ирравади», а возможно, и в Калькутте, и совсем повеселел.

Когда он дошел до жилища Мойров, к нему уже возвратилась слабая тень прежней бойкости, и он не взошел, а взлетел по ступеням к двери. (Мойры, к сожалению, вынуждены были жить над своей лавкой, и потому ступенек было много, и, что еще хуже, вход был рядом с уборной.)

Мэтью настолько воспрянул духом, что постучал молотком в дверь весьма решительно и принял вид человека, возмущенного неприглядностью окружающей обстановки, не подобающей для того, чье имя когда-нибудь будет сиять в анналах Британской империи. Так же свысока посмотрел он на девчонку, прислуживавшую в лавке, которая, в данную минуту преобразившись в горничную, отперла ему дверь и проводила в гостиную. Здесь, освобожденная от обязанности стоять за прилавком (несмотря на то что рабочий день еще не кончился), уже сидела Агнес, ожидая своего Мэта: завтра ей нельзя будет покинуть пост в лавке, чтобы проводить Мэта до Глазго, но сегодняшний вечер принадлежал ей.

Гостиная, холодная и сырая, имела нежилой, чопорный вид: она была обставлена громоздкой мебелью красного дерева, затейливый рисунок которой терялся в сладострастной тайне изгибов, а лоснившиеся спинки и сиденья из конского волоса были прикрыты вышитыми салфеточками. Линолеум на полу блестел, как только что политая мостовая. Горные коровы зловещего вида, изображенные масляными красками, уныло глядели со стен на фортепиано (эту традиционную марку аристократизма), на узкой крышке которого, уставленной всякой всячиной, красовались под стеклянным колпаком три чучела птиц неизвестных пород среди целого леса фотографий: Агнес в младенческом возрасте, Агнес ребенком постарше, Агнес подростком, Агнес взрослой девицей, Агнес в группе, снятой во время ежегодной экскурсии служащих булочных и кондитерских, Агнес на собрании Общества трезвости, на прогулке членов Общества ревнителей церкви – все было здесь.

Здесь же присутствовала во плоти и сама Агнес – можно сказать, именно во плоти, так как при низком росте Агнес, как и мебель в ее гостиной, отличалась чрезмерной выпуклостью линий, особенно в области бедер и груди, пышных и обещавших принять еще более пышные размеры.

Агнес была брюнетка с глазами маленькими и черными, как две дикие сливы, под соболиными бровями, с оливково-смуглым лицом и красными, довольно толстыми губами; на верхней губе у нее темнел ровный коричневый пушок, пока еще слабый, скорее похожий на тень, но являвший серьезную угрозу в будущем.

Агнес горячо расцеловала Мэта. Она была на пять лет старше его и поэтому очень им дорожила. Взяв его за руку, она увлекла его за собой и, усадив, села с ним рядом на неуютный диван, который, как и вся гостиная, был предоставлен для свиданий влюбленной пары.

– И подумать только, что это наш самый последний вечер! – жалобно сказала Агнес.

– Не надо так говорить, Агнес, – запротестовал Мэтью. – Ведь мы можем постоянно думать друг о друге! Душою я буду с тобой, а ты со мной.

Несмотря на то что Агнес являлась рьяным членом Общества ревнителей церкви, она, судя по ее наружности, была создана для более тесной близости, чем та, которую сулил ей Мэт. Разумеется, она этого не подозревала и с возмущением отвергла бы такое предположение. Но вздох ее был глубок, когда она промолвила: «Я хотела бы, чтобы Индия была поближе» и крепко прижалась к Мэту.

– Время быстро летит, Агнес, не успеешь оглянуться, как я вернусь с целой кучей рупий.

И, гордый своей осведомленностью насчет иностранной валюты, прибавил:

– Рупия – это около шиллинга и четырех пенсов.

– Полно тебе говорить о рупиях в такие минуты, Мэт. Скажи, что ты любишь меня.

– Ну конечно, я тебя люблю, оттого мне так грустно уезжать. Последние дни я сам не свой – видишь, как побледнел! – Сложив таким образом все бремя своих страданий к ее ногам, он находил в этом истинное благородство.

– И ты даже разговаривать не станешь ни с одной из этих заграничных дам, обещаешь, Мэт? Я бы на твоем месте не доверяла им, за красивым лицом может скрываться злое сердце. Ты будешь это всегда помнить, да, милый?

– Ну конечно, Агнес.

– Видишь ли, милый, там, в жарких странах, каждого красивого молодого человека ждет, должно быть, много искушений. Женщины, как только его приметят, пойдут на все, чтобы поймать его в свои сети, в особенности если он нравственный молодой человек – это их больше всего подстрекает. А твоей маленькой Агнес не будет там, чтобы уберечь тебя, Мэт. Обещай мне остерегаться их ради меня.

Мэту было удивительно приятно, что он так страстно любим, что Агнес заранее отчаянно ревнует его, и, мысленно уже созерцая свои будущие победы за границей, он торжественно произнес:

– Да, Агнес, я знаю, что ты права. Может быть, путь мой будет труден, но ради тебя я никому не дам себя совратить. Если нас и разлучит что-нибудь, то это будет не по моей вине.

– Ах, Мэт, родной мой, не смей и говорить об этом! Я не буду спать по ночам, думая обо всех этих бесстыдницах, которые станут вешаться тебе на шею. Разумеется, милый, я не так уж безрассудна: я буду довольна, если ты там познакомишься с серьезными и порядочными женщинами, ну, хотя бы с женами миссионеров или другими ревнительницами христианства. Тебе полезно было бы там иметь двух-трех знакомых пожилых дам, которые по-матерински заботились бы о тебе, может быть, даже штопали бы тебе носки. Если ты мне сообщишь о них, я могла бы с ними переписываться.

– Разумеется, Агнес, – поддакивал Мэт, ничуть не увлеченный такой перспективой и твердо убежденный, что почтенные пожилые дамы, о которых она говорила, для него неподходящая компания. – Но я сейчас не могу еще знать, встречу ли кого-либо подобного. Посмотрим сначала, как все у меня сложится.

– Ты быстро станешь там на ноги, – нежно уверяла она. – Ты ведь и сам не знаешь, как привлекаешь к себе всех. Потом, твоя игра очень поможет тебе выдвинуться в обществе. Ты не забыл уложить ноты?

Мэтью самодовольно кивнул головой:

– Все взял. И мандолину. Я вчера переменил на ней бант.

Агнес сдвинула черные брови при мысли о тех, кто будет любоваться этим украшением, завязанным на поэтическом инструменте. Но, не желая слишком наседать на Мэтью, она с некоторым усилием подавила свои опасения и с деланой улыбкой направила беседу в более возвышенное русло:

– В церковном хоре тоже будет сильно недоставать тебя, Мэт. Без тебя и в кружке все будет казаться иным.

Он скромно запротестовал, но Агнес не хотела слушать возражений.

– Нет, – воскликнула она, – не спорь со мной! В церкви будет очень недоставать твоего голоса. Помнишь, милый, тот вечер после спевки, когда ты в первый раз провожал меня домой? Никогда не забуду, как ты заговорил со мной. Помнишь, что ты сказал?

– Не припомню сейчас, Агги, – ответил он рассеянно. – И разве не ты первая со мной заговорила?

– О, Мэт! – ахнула она, укоризненно подняв брови. – И как тебе только не совестно! Ты отлично знаешь, что это ты улыбался мне из-за нот весь тот вечер и что ты первый заговорил со мной. Я только спросила, не по пути ли нам.

Мэтью кивнул головой с покаянным видом:

– Вспомнил, вспомнил теперь, Агнес. И мы с тобой съели большой кулек лакричных леденцов разного сорта, которые ты принесла с собой. Они были превкусные!

– Я буду посылать тебе каждый месяц большую жестянку конфет, – поторопилась обещать Агнес. – Я не хотела вперед рассказывать тебе, милый, но раз ты заговорил об этом сам, отчего же не сказать. Я знаю, что ты любишь конфеты, а в тех краях ни за что не достанешь хороших. Если послать их в жестянке, они дойдут в прекрасном виде.

Он поблагодарил ее довольной улыбкой, но, раньше чем он успел что-нибудь сказать, Агнес продолжала, торопясь использовать его благодарность, пока она не остыла.

– Твоя Агнес на все для тебя готова, Мэт, только бы ты не забывал ее, – говорила она страстно. – Ты никогда, ни на одну минуту не должен забывать обо мне. Ты ведь возьмешь с собой все мои фотографии? Сразу же вынь и поставь одну из них в каюте, хорошо, милый? – Она еще крепче прижалась головой к плечу Мэта и смотрела на него, словно гипнотизируя. – Поцелуй меня, Мэт. Вот так, хорошо! Как чудесно, что мы обручены! Это почти то же, что брак. Всякая честная девушка может чувствовать то, что чувствую я, только в том случае, если она обручена с кем-нибудь.

Диван, видимо, был не пружинный, и Мэт начинал испытывать неудобство под навалившимся на него солидным грузом. Его ребяческая любовь к мисс Мойр, питаемая коварной лестью и знаками внимания с ее стороны, была недостаточно сильна, чтобы выдержать тяжесть этих мощных любовных объятий.

– Ты мне позволишь покурить? – спросил он тактично.

Агнес подняла глаза, налитые прозрачными слезами, из-под черной, как смоль, путаницы волос.

– В последний вечер? – сказала она с упреком.

– Видишь ли, я думаю, это поможет мне встряхнуться, – пробормотал он. – Последние дни были очень тяжелы, все эти сборы так утомляют человека.

Она вздохнула и неохотно поднялась, говоря:

– Ну хорошо, милый. Я ни в чем не могу тебе отказать. Покури, если чувствуешь, что это тебе будет полезно. Но смотри, не кури слишком много в Индии, Мэт. Не забывай, что у тебя слабые легкие. – Она милостиво прибавила: – Ну, давай ради последнего раза я сама зажгу тебе сигару.

Она боязливо зажгла немного смятую сигару, которую Мэтью вынул из жилетного кармана, и опасливо наблюдала, как он с подобающей мужчине безмолвной важностью пускал густые клубы дыма. Теперь она могла обожать его и любоваться им лишь на некотором расстоянии, но, вытянув руку, она ухитрялась все же гладить его часовую цепочку.

– Ты будешь скучать по своей бедной Агги, не правда ли, Мэт? – спрашивала она прочувствованно, слегка покашливая, когда раздражающий дым сигары попадал ей в горло.

– Отчаянно, – уверил ее Мэт. Он от всей души наслаждался эффектностью своей позы: он сидит как герой, она – у ног его, взирает на него с нежным восторгом. – Тоска будет без тебя… невыносимая. – Ему хотелось сказать «чертовская», это было бы шикарнее, но из уважения к Агнес он употребил менее мужественное выражение и при этом покачал головой, словно сомневаясь в своей способности выдержать все испытания.

– Мы должны страдать во имя нашей любви, – промолвила со вздохом Агнес. – Я уверена, что она воодушевит тебя на великие и прекрасные дела там, в Индии. Ты пиши мне обо всем.

– Я буду с каждой почтой писать тебе и маме, – обещал Мэтью.

– А я, разумеется, буду часто видеться с мамой, – отозвалась Агнес таким тоном, словно она была уже членом семьи.

Мэтью думал о предстоящих ему тяжких трудах в далекой стране и о том, что две преданные, обожающие его женщины будут вместе воссылать к небу молитвы за него. Однако, несмотря на все его усилия продолжать курение, он не мог этого сделать, так как сигара жгла ему губы, и в конце концов пришлось с сожалением бросить ее.

Тотчас же Агнес прильнула к его груди:

– Поцелуй меня еще, милый!

Потом, после паузы, она пролепетала манящим (как ей казалось) шепотом:

– Ты вернешься ко мне большим, сильным, страстным мужчиной, да, Мэт? Я хочу, чтобы ты обнимал меня крепко, так крепко, как только тебе захочется.

Мэтью вялой рукой обнял ее плечи со смутным неудовольствием: слишком уж много Агнес требует от человека, которому наутро предстоят опасности трудного плавания, таящего в себе много неизвестного.

– Мне, право, стыдно, что я не умею скрыть своих чувств, – продолжала застенчиво Агнес. – Но ведь в этом нет ничего дурного, правда, Мэт? Ведь мы поженимся, как только ты вернешься домой. У меня сердце разрывается на части оттого, что нам не удалось обвенчаться до твоего отъезда. Я бы так охотно поехала с тобой!

– Что ты, Агнес, – возразил Мэтью, – там совсем не место для белой женщины.

– Но туда уезжает так много их, Мэт! Жены разных чиновников и мало ли кто! Если тебе придется ехать туда вторично после того, как ты отслужишь срок, я непременно поеду с тобой, – решительно сказала Агнес. – Нам теперь мешает только то, что ты должен сначала сделать карьеру, милый.

Он промолчал, испуганный решительностью ее тона. Никогда до сих пор ему не приходило в голову, что он так близок к алтарю, он вовсе не подозревал истинных размеров власти Агнес над ним. Ее поцелуй показался ему бесконечно долгим. Наконец он объявил:

– Пожалуй, мне пора идти, Агги.

– Да ведь еще так рано, Мэт, – обиженно возразила она. – Ты никогда не уходил раньше десяти.

– Я знаю, Агнес, но мне завтра предстоит трудный день, – сказал он с важностью. – К двенадцати уже надо быть на пароходе.

– Это прощание меня убьет! – воскликнула трагически Агнес, неохотно выпуская Мэта из объятий.

Он встал и, поправляя галстук, одергивая книзу брюки, осматривая на них пострадавшие складки, чувствовал, что ни о чем не жалеет: приятно было сознавать, что женщины готовы умереть из-за него.

– Итак, прощай, Агнес! – мужественно воскликнул он, широко расставив ноги и протягивая ей обе руки. – Придет время, и мы с тобой увидимся снова.

Она бросилась в раскрытые ей объятия, снова спрятала голову у него на груди и так зарыдала, что оба они покачнулись.

– Я чувствую, что мне не следовало бы тебя отпускать, – прерывающимся голосом воскликнула Агнес, когда Мэтью высвободился, – не следовало мне так легко тебя уступать. Ты уезжаешь далеко. Но я буду молиться за тебя, Мэт. Да сохранит тебя Бог для меня! – И она заплакала, видя, что он уже сходит с лестницы.

Мэт вышел на улицу утешенный, ободренный и воодушевленный горем своей невесты, как будто опустошение, которое он произвел в ее девственном сердце, придавало ему достоинства, увеличивало на несколько дюймов его рост. Но в этот вечер, лежа в постели (он лег пораньше, чтобы набраться сил для предстоящих на следующий день хлопот), он размышлял уже как более зрелый и светски опытный человек на тему о том, что мисс Мойр, пожалуй, в последнее время была немного чересчур настойчива в выражении своих чувств. А засыпая, пришел к заключению, что мужчине следует дважды подумать, прежде чем связать себя узами брака, в особенности если этот мужчина – такой прожженный парень, как он, Мэтью Броуди.

На другое утро он проснулся рано, но мама не позволила ему встать раньше девяти.

– Не торопись! Не надо волноваться. Прибереги силы, мой мальчик, – сказала она, подавая ему в постель завтрак. – У нас еще уйма времени, а тебе предстоит долгое путешествие.

Она уже, должно быть, рисовала в своем воображении это путешествие без передышки до самой Калькутты. И оттого, что она не дала Мэту встать рано, он был еще полуодет, когда отец позвал его, стоя внизу у лестницы.

Джемс Броуди не пожелал ни на дюйм отступить от своей обычной программы; он, без сомнения, счел бы слабостью со своей стороны какое-либо участие в проводах сына – и в половине десятого, как всегда, собрался в лавку. Когда Мэтью впопыхах сбежал с лестницы, в подтяжках, с полотенцем в руках, с падавшими на бледный лоб мокрыми волосами, и подошел к отцу, стоявшему в передней, Броуди устремил на него взгляд, в котором была, казалось, магнетическая сила, и на одно мгновение перехватил неуверенный взгляд сына.

– Итак, Мэтью Броуди, – сказал он, глядя на него сверху вниз, – ты сегодня отправляешься и, значит, скажешь «прости» родному дому на пять лет. Надеюсь, ты за это время сумеешь чего-нибудь добиться. Ты слюнтяй и ломака, и твоя мамаша немного тебя избаловала, но в тебе должны быть и хорошие задатки. *Должны быть*, – крикнул он, – потому что ты мой сын! Я хочу, чтоб ты это доказал! Смотри людям прямо в глаза и не вешай голову, как трусливая собака. Я предоставил тебе все, что нужно, – продолжал он. – Должность у тебя ответственная и открывает большие возможности. Я снабдил тебя всем лучшим, что только можно достать за деньги. Я посылаю тебя за границу, чтобы сделать из тебя человека, не забывай же, что ты сын и наследник Джемса Броуди. Самое лучшее, что я дал тебе, – это мое имя! Так будь же человеком, а главное – будь Броуди! Веди себя как настоящий Броуди, повсюду, где бы ты ни был, иначе… иначе да помилует тебя Бог!

Он крепко пожал руку сыну, повернулся и вышел.

Мэтью в волнении закончил свой туалет с помощью матери, которая все время то вбегала, то выбегала из комнаты, съел завтрак, не замечая его вкуса, и, раньше чем успел опомниться, в ужасе увидел у ворот кеб. Прощальные приветствия дождем посыпались на него. Старая бабка, сердитая на то, что ее так рано разбудили, крикнула с верхней площадки лестницы, запахивая длинную ночную сорочку вокруг костлявых голых ног:

– Ну, прощай! Да смотри не утони по дороге!

Несси, которая уже заблаговременно лила слезы, взволнованная торжественностью ожидаемого события, могла только невнятно прорыдать:

– Я тебе буду писать, Мэт! Надеюсь, компас тебе пригодится.

Мэри тоже была глубоко взволнована. Она обвила руками шею Мэта и нежно поцеловала его.

– Бодрись, Мэт, дорогой. Будь молодцом, и ничего дурного с тобой не случится. Не забывай, что у тебя есть сестра, которая тебя очень любит.

Всю дорогу до станции Мэт сидел в кебе, рядом с мамой, апатично сгорбившись, не замечая немилосердной тряски, в то время как миссис Броуди гордо поглядывала в окошко. Она представляла себе, как люди подталкивают друг друга, видя, что она катит в нарядном экипаже, и говорят: «Это миссис Броуди провожает своего сынка в Калькутту. Она всегда была ему доброй матерью, да и парень, надо сказать, хоть куда!»

«Разумеется, не каждый день случается в Ливенфорде, что мать провожает сына на пароход, идущий в Индию», – удовлетворенно размышляла она, стараясь поприличнее задрапировать на себе пальто и величаво сидя в дряхлом кебе, словно в собственной карете.

У вокзала она с важным видом расплатилась с кучером, поглядывая украдкой из-под шляпы на нескольких зевак под аркой, и затем не удержалась, чтобы не заметить как бы вскользь носильщику, взявшему багаж: «Этот молодой джентльмен едет в Индию». Носильщик, спотыкаясь под тяжестью сундука и одурев от запаха камфары, исходившего оттуда, повернул багровую шею и тупо посмотрел на нее, слишком ошарашенный, чтобы поддержать разговор.

Они пришли на платформу, но роковой поезд опоздал, расписание на железнодорожном участке между Ливенфордом и Дэрроком никогда не вызывало одобрения публики и сегодня также, оправдывая свою репутацию, соблюдалось далеко не точно. Мама беспокойно постукивала ногой, нетерпеливо поджимала губы, поглядывала беспрестанно на серебряные часики, которые носила на шее, на волосяной цепочке. Мэтью, полный страстной надежды на то, что на линии произошло крушение, посматривал рассеянно и безутешно на носильщика, который, в свою очередь, разинув рот, глядел на миссис Броуди. Он никогда не видывал ее раньше и, пожирая ее бессмысленным взором, по величавой небрежности и вместе живости ее манер, выходившей за пределы всего виденного им до сих пор, принял ее за какой-то феномен – за путешественницу по меньшей мере европейского масштаба.

Наконец вдали послышалось лязганье, как похоронный звон, отнявший у Мэтью последнюю надежду. Поезд, выпуская пар, подошел к станции и через несколько минут снова запыхтел, увозя миссис Броуди и ее сына, сидевших друг против друга на жестких деревянных скамейках, и оставив на платформе носильщика, недоверчиво рассматривавшего монету в один пенс, которую незнакомая леди величественно сунула ему в руку. Он почесал затылок, плюнул с презрением и выбросил из головы весь эпизод, как тайну, которая выше его понимания.

В поезде миссис Броуди пользовалась каждым мгновением, когда стихал шум колес и голос ее мог быть услышан, чтобы обратиться с каким-либо оживленным замечанием к Мэтью, а в промежутках весело смотрела на него. Мэтью ерзал на месте: он знал, что его стараются «подбодрить», и его это злило. «Ей-то хорошо, – думал он уныло, – ей ведь уезжать не надо».

Наконец они приехали в Глазго (Мэту путешествие показалось непозволительно коротким). С вокзала направились по Джемайка-стрит и по Бруми-Ло в порт, туда, где стоял уже под парами «Ирравади», а по бокам его два буксирных судна. Пароход показался им огромным, лопасти у него были широкие, как летучая мышь с распростертыми крыльями, а по сравнению с его трубой мачты всех остальных судов казались низкими.

Мама сказала с восхищением:

– Честное слово, вот это пароход, Мэт! Теперь я буду меньше тревожиться, раз ты едешь на таком большом пароходе. Эта громада не ниже нашей городской башни. Смотри, сколько народу на палубе! Я думаю, нам можно уже идти туда.

Они вместе подошли к сходням и поднялись на палубу, где уже началась обычная при посадке толчея, преувеличенная суета и беспорядок. Матросы носились по палубе, творя чудеса с канатами; офицеры в золотых галунах строго покрикивали и громко свистали. Пароходная прислуга гонялась за пассажирами, а пассажиры – за прислугой. Англоиндусы, возвращавшиеся в облюбованную ими страну, яростно смотрели на всякого, кто оказывался у них

на дороге, родственники в эти минуты тяжкого расставания калечили пальцы ног о железные стойки и груды багажа.

Среди толкотни и шума мужество миссис Броуди дрогнуло. Важная мина контролера, направившего их вниз, внушила ей робость, и хотя она первоначально намеревалась подойти к капитану парохода и в подобающих выражениях поручить Мэта его особому попечению, она теперь не решалась сделать это. Сидя в душной берлоге, которая должна была служить Мэту каютой в течение ближайших двух месяцев, и ощущая легкое покачивание судна вверх и вниз, она поняла, что чем скорее она вернется на берег, тем будет лучше.

Теперь, когда подошел миг действительного прощания, исчезла ложная экзальтация, созданная ее романтическим воображением, лопнула, подобно проколотому пузырю, как предсказывал, насмехаясь, ее супруг. Миссис Броуди снова стала тем, чем была на самом деле, – слабой женщиной, которая дала жизнь этому ребенку, кормила его своей грудью, у которой он вырос на глазах и теперь покидал ее. Слеза медленно поползла по ее щеке.

– Ах, Мэт, – вскрикнула она, – я старалась бодриться ради тебя, сынок, но сейчас мне очень тяжело. Боюсь, что эти чужие страны – не место для тебя. Лучше бы ты оставался дома.

– Мне тоже не хочется уезжать, мама, – горячо взмолился Мэтью, как будто она могла в последнюю минуту протянуть руку и вырвать его из когтей ужасной опасности, грозившей ему.

– Придется тебе все-таки ехать, сыночек. Теперь уж дело зашло слишком далеко, ничего нельзя изменить, – возразила она, печально качая головой. – Твой отец все время этого хотел. А раз он велит, надо слушаться. Другого выхода нет. Но ты постараешься вести себя как следует, не правда ли, Мэт?

– Да, мама.

– И будешь посылать домой часть своего жалованья, чтобы я могла вносить деньги в строительную компанию для тебя?

– Да, мама.

– И каждый день будешь прочитывать по главе из Библии, которую я тебе дала, Мэт?

– Да, мама.

– И не забывай меня, Мэт.

Мэтью вдруг начал прерывисто и странно всхлипывать.

– Не хочу ехать, – ревел он, цепляясь за платье матери. – Вы меня отправляете бог знает куда, и я никогда оттуда не вернусь… На смерть меня посылаете! Не отпускай меня, мама!

– Ты должен ехать, Мэт, – прошептала миссис Броуди. – Он убил бы нас, если бы ты вернулся со мной обратно.

– У меня будет морская болезнь, – хныкал Мэт. – Я чувствую, она уже начинается. И я схвачу лихорадку в Индии. Ты знаешь, какой у меня слабый организм. Говорю тебе, мама, – эта поездка меня доконает.

– Перестань, сынок, – бормотала мать, – успокойся! Я буду молиться, чтобы Бог хранил тебя.

– Ну хорошо, мама, раз я должен ехать, так уходи, оставь меня, – причитал Мэт, – я не в силах больше терпеть! Незачем тебе сидеть тут и дразнить меня. Уходи, и пусть все будет кончено!

Мать встала и обняла его. Наконец в ней заговорили чувства простой женщины.

– Прощай, сынок, благослови тебя Господь, – сказала она тихо.

Когда она вышла из каюты в слезах, с трясущейся головой, Мэтью бессильно опустился на свою койку.

Миссис Броуди сошла по сходням и направилась к вокзалу на улице Королевы. Едва волоча ноги, брела она теперь мимо доков, по той же дороге, по которой недавно шла к пароходу так легко и весело; ее тело все больше и больше клонилось вперед, платье небрежно волочилось сзади, голова трогательно поникла на грудь. Душа ее была исполнена смиренной

покорности. Она окончательно очнулась от своих грез и снова превратилась в беспомощную и несчастную жену Джемса Броуди.

В поезде по дороге домой она почувствовала, что устала, обессилена быстрой сменой переживаний, через которые прошла; ее одолела дремота, и она уснула. Тотчас же откуда-то из закоулков сонного мозга притаившиеся там видения вырвались на свободу и мучили ее. Кто-то швырял ее наземь, побивал камнями; со всех сторон надвигались серые квадратные каменные стены, все больше сдавливая ее. Рядом на земле лежали ее дети, их тела, страшные в своей изможденности и бессилии, казались трупами. И когда стены медленно стали надвигаться на них, она проснулась с громким криком, потонувшим в свистке паровоза. Поезд входил в предместье Ливенфорда. Она была дома.

V

На другое утро, часов в десять, миссис Броуди и Мэри были одни на кухне. Обычно в этот час они обсуждали хозяйственную программу на предстоящий день, после того как глава семьи, позавтракав, уходил из дому. Но в это утро они не строили планов уборки или починки, не совещались насчет того, что лучше приготовить на обед – тушеное мясо или котлеты, не обсуждали вопроса, требует ли утюжки серый костюм отца. Они сидели молча, чем-то удрученные; миссис Броуди уныло прихлебывала из чашки крепкий чай, Мэри безучастно глядела в окно.

– Я сегодня никуда не гожусь, – промолвила наконец мать.

– И неудивительно, мама, после вчерашнего, – вздохнула Мэри. – Как-то он теперь себя чувствует? Надеюсь, не тоскует еще по дому.

Миссис Броуди покачала головой:

– Самое худшее будет, если начнется качка. Мэт всегда плохо себя чувствовал на воде, бедняжка! Я очень хорошо помню, когда ему было лет двенадцать, не больше, мы ехали на пароходе в Порт-Доран, и он очень страдал, а между тем море было совсем тихое. Он стал есть сливы после обеда, мне не хотелось запрещать ему и портить мальчику удовольствие в такой день, но его стошнило – пропали даром и сливы, и хороший обед, за который отец заплатил целых полкроны. Ох и сердился же на него отец и на меня тоже, как будто я была виновата в том, что мальчика от качки стошнило.

Она помолчала, занятая воспоминаниями, потом прибавила:

– Теперь, когда Мэт уехал от нас так далеко, я рада, что от меня он никогда за всю жизнь не слыхал дурного слова. Да, ни разу я не только руки на него не подняла, но и сердитого слова ему не сказала.

– Мэт всегда был твоим любимцем, – кротко согласилась Мэри. – Ты, наверное, очень будешь скучать без него, мама?

– Скучать? Еще бы! Я чувствую себя так, как будто… как будто что-то внутри у меня оторвалось, увезено на этом пароходе и никогда не вернется. И я надеюсь, что и Мэт будет тосковать по мне. – Она замигала глазами и продолжала: – Да, хоть он и взрослый мужчина, а в каюте расплакался как ребенок, когда прощался со своей матерью. Это меня утешает, Мэри, и будет поддерживать, пока я не найду настоящего утешения в его дорогих письмах. Ох, как я их жду! Единственный раз он мне написал письмо, когда ему было девять лет и он после болезни гостил на ферме у кузена Джима. Занятно он писал – про лошадь, на которую его посадили, да про маленькую форель, которую сам поймал в реке. Это письмо до сих пор хранится у меня в комоде. Я люблю его перечитывать. Знаешь что, – заключила она с меланхолическим удовольствием, – я разберусь во всех ящиках и отберу вещи Мэта, какие у меня найдутся, этим я хоть капельку утешусь, пока не придут вести от него.

– Мы сегодня приберем его комнату, мама? – спросила Мэри.

– Нет, Мэри, там ничего не надо трогать. Это комната Мэта, и мы сохраним ее такой, как она есть, до тех пор, пока она ему снова понадобится… если это когда-нибудь будет.

Мама с наслаждением отхлебнула глоток из чашки.

– Вот спасибо, что ты согрела мне чай, Мэри, он меня подкрепит. Кстати, там Мэт, должно быть, будет пить хороший чай, Индия славится чаем и пряностями. Холодный чай будет его освежать в жару.

Затем, помолчав, она прибавила:

– А отчего ты не налила чашечку и себе?

– Не хочу. Мне что-то нездоровится сегодня, мама.

– Ты и в самом деле плохо выглядишь последние дни. Бела как бумага.

Из своих детей миссис Броуди меньше всех любила Мэри. Но, лишившись своего любимца Мэтью, она почувствовала, что Мэри стала ей как-то ближе.

– Сегодня мы уборку делать не будем, ни ты, ни я. Мы обе заслужили отдых после той гонки, что была у нас последнее время. Я попробую, пожалуй, развлечься чтением, а ты сегодня сходи за покупками, подыши свежим воздухом. В такой сухой и солнечный день полезно пройтись. Давай запишем, что надо купить.

Они выяснили, каких продуктов недостаточно в кладовой, и Мэри записала все на бумажку, не надеясь на свою предательскую память. Закупки в различных лавках были делом сложным, так как деньги на хозяйство выдавались не щедро и они старались все закупать как можно дешевле.

– Можно будет перестать брать маленькие булочки в пекарне, раз Мэта нет. Отец до них не дотрагивается. Скажешь там, чтобы их больше не присылали, – наказывала мама. – Господи, как вспомню, что мальчика нет, дом кажется таким пустым! Мне доставляло столько удовольствия угощать его каким-нибудь вкусным блюдом.

– И масла нам тоже теперь понадобится меньше, мама. Он его очень любил, – заметила Мэри, задумчиво постукивая карандашом по своим белым зубам.

– Во всяком случае, сегодня масла не нужно, – отвечала мать с некоторой холодностью. – Да, вот еще что: купи по дороге журнал «Добрые мысли» за последнюю неделю. Это именно то, что нужно Мэту, и я буду посылать его ему каждую неделю. Мэту приятно будет получать регулярно журнал, и это очень полезное чтение.

Когда они все взвесили, выяснили, что нужно купить, и тщательно подсчитали, сколько все это будет стоить, Мэри взяла деньги, отсчитанные матерью из ее тощего кошелька, надела шляпку, повесила на руку красивую плетеную сумку и отправилась за покупками. Она была рада возможности выйти, вне дома она чувствовала себя свободнее и душой и телом, менее связанной крепко укоренившимися незыблемыми формами окружающей ее жизни. Вдобавок каждая вылазка в город теперь таила в себе для Мэри элемент рискованного и волнующего приключения, и на каждом углу и повороте она в ожидании тяжело переводила дух, едва решалась поднять глаза от земли, и надеясь и боясь увидеть Дениса. Хотя писем от него она больше не получала (и к счастью, может быть, так как иначе она неизбежно была бы изобличена), но внутреннее чутье говорило ей, что Денис уже вернулся домой из своей деловой поездки по району. Если он и вправду ее любит, он непременно приедет в Ливенфорд, чтобы искать встречи с нею.

Подгоняемая каким-то бессознательным томлением, она ускорила шаги, сердце ее билось сильнее. Она в смятении прошла мимо городского выгона, и один быстрый и боязливый взгляд сказал ей, что от веселой ярмарки, бывшей здесь неделю назад, остались только дорожки, протоптанные множеством ног, белевшие на земле четырехугольники и круги – следы стоявших тут палаток и ларей, кучи обломков и дымящейся золы на примятой, выжженной траве. Но этот беспорядок и опустошение не вызвали в ее душе острой боли, она не пожалела об отсутствии нарядной и веселой толпы. В сердце ее жило воспоминание, ничем не омраченное, не затоптанное, не выжженное, с каждым днем ярче пламеневшее.

Желание увидеть Дениса становилось все настойчивее. Оно сообщало какую-то удивительную воздушность и стремительность ее стройной фигуре, туманило глаза, вызывало на ее щеках румянец, свежий, как только что распустившаяся дикая роза. Тоска по Денису подкатывалась к горлу, душила, как душит жестокое горе.

Добравшись до центра города, она начала ходить по лавкам, мешкая, останавливаясь на минуту у каждой витрины, в надежде, что вот-вот ощутит легкое прикосновение к своему плечу. Выбирала самый длинный путь, проходила по всем улицам, куда только у нее хватало смелости сворачивать, все в той же надежде встретить Дениса. Но его нигде не было видно, и Мэри, уже не скрываясь, стала жадно смотреть по сторонам, словно умоляя его появиться и

вывести ее из состояния мучительной неизвестности. Постепенно список поручений, данных матерью, становился все короче, и к тому времени, когда она сделала последнюю покупку, на ее гладкий лоб набежала морщинка тревоги, а углы рта жалобно опустились. Теперь она была во власти скрывавшегося до сих пор под ее нетерпением противоположного чувства. Денис ее не любит и потому не придет! Безумие с ее стороны – верить, что он все еще думает о ней. Пара ли она ему, этому обаятельному красавцу? И с горькой уверенностью отчаяния Мэри решила, что никогда она не увидит его больше. Она казалась себе брошенной, одинокой, подбитой птицей, которая еще слабо трепещет крыльями.

Больше нельзя было оттягивать возвращения домой. С внезапно проснувшимся чувством собственного достоинства она решила, что стыдно на глазах у людей шататься без дела по улицам – словно поиски человека, пренебрегшего ею, унижали ее в общественном мнении. И, торопливо повернув обратно, она направилась домой, чувствуя, что сумка с покупками оттягивает ей руку, как тяжелый груз. Она выбирала теперь тихие улицы, чтобы легче избежать возможной встречи, с грустью говоря себе, что, раз она Денису не нужна, она не станет ему навязываться: в припадке горького самоуничижения она шла с поникшей головой и, переходя улицу, старалась занимать как можно меньше места на мостовой.

Она настолько уже отказалась от мысли увидеть Дениса, что, когда он внезапно появился перед ней, вынырнув из переулка, ведущего к новому вокзалу, это было похоже на возникновение призрака из воздуха. Мэри подняла глаза, испуганные, неверящие, словно отказывавшиеся передать сознанию то, что они увидели, и затопить сердце радостью, которая может оказаться обманчивым миражем. Но призрак не мог бы так стремительно броситься вперед, так пленительно улыбаться, сжимать ее руку так нежно, так крепко, что она ощущала биение горячей крови в его живой и сильной руке. Да, это был Денис. Но какое право имел он быть таким веселым, таким ликующим, беззаботным и ослепительно-изящным, словно восторга его не омрачала и тень воспоминания об их разлуке? Неужели он не чувствовал, что она провела в вынужденном ожидании столько томительных, печальных дней и только минуту назад совсем пала духом, до того даже, что считала себя покинутой?

– Мэри, мне кажется, что я попал на небеса, а вы ангел, который встречает меня там! Я вернулся вчера, поздно вечером, и, как только удалось вырваться из дому, в ту же минуту помчался сюда. Какая удача, что я вас встретил! – восклицал он, жадно глядя ей в глаза.

Мэри тотчас же простила ему все. Ее отчаяние растаяло на огне его бурной радости; грусть умерла, заразившись веселостью его улыбки, а вместо нее пришло вдруг смущающее воспоминание о сладостной интимности их последнего свидания, и ей стало ужасно стыдно.

Она покраснела, увидев среди бела дня этого молодого щеголя, который под покровом благодетельного мрака сжимал ее так крепко в объятиях, который был первым мужчиной, целовавшим ее, ласкавшим ее девственное тело. Догадывался ли он обо всем, что она передумала с тех пор? Знал ли, какие волнующие воспоминания о прошлом и безумные, беспокойные видения будущего осаждали ее? Она не решалась посмотреть на Дениса.

– Как я счастлив, что вижу вас снова, Мэри! Я готов запрыгать от радости. А вы рады? – говорил он между тем.

– Да, – ответила она тихо и смущенно.

– Мне столько нужно вам сказать такого, чего я не мог написать в письме! Я не хотел быть слишком откровенным, опасаясь, что письмо перехватят. Получили вы его?

– Получила, но вам не следует больше писать мне, – прошептала Мэри. – Я боюсь за вас.

Уже и то, что он написал, было достаточно нескромно, так что при одной мысли о том, чего он не решился написать, щеки Мэри вспыхнули еще ярче.

– Да мне теперь долго не понадобится писать. – Он многозначительно улыбнулся. – Мы, конечно, будем часто встречаться. До осеннего объезда района я буду работать здесь в конторе еще месяца два. Кстати, Мэри, дорогая, вы и тут, как волшебница, принесли мне счастье: на

этот раз я собрал вдвое больше заказов. Если вы постоянно будете так меня вдохновлять, я благодаря вам очень скоро разбогатею. Клянусь Богом, вам придется выйти за меня замуж хотя бы только для того, чтобы делить доходы!

Мэри с беспокойством оглянулась, ей уже чудилось на безлюдной улице множество предательских глаз, следящих за ними. Веселая уверенность Дениса показывала, насколько он не понимал ее положения.

– Денис, мне нельзя больше здесь стоять. Нас могут увидеть.

– А разве преступление – разговаривать с молодым человеком, к тому же… утром? – возразил он тихо, подчеркнув последнее слово. – Право, в этом нет ничего зазорного. А если не хотите стоять здесь, я готов пойти с вами куда угодно, хоть на край света. Разрешите взять ваши пакеты, сударыня!

Мэри покачала головой.

– Тогда на нас еще скорее обратят внимание, – сказала она робко, чувствуя уже на себе взгляды всего города во время такой безрассудно смелой прогулки.

Денис посмотрел на нее с покровительственной нежностью, затем окинул улицу беглым взглядом, который влюбленная Мэри сравнила про себя со смелым взором завоевателя во вражеской стране.

– Мэри, голубушка, – сказал он шутливым тоном, – вы не знаете еще, с кем имеете дело. Фойль никогда не сдается – вот мой девиз. Идем! – Он, крепко держа ее руку, прошел с ней мимо нескольких домов. Потом, раньше чем она успела опомниться и подумать о сопротивлении, увлек ее за светло-желтую дверь кафе Берторелли. Мэри даже побледнела от страшной мысли, что она перешла теперь все границы приличия, дошла до окончательного падения. Укоризненно глядя в улыбающееся лицо Дениса, она ахнула с шокированным видом:

– О Денис, что вы сделали!

Но когда она оглядела чистенькую пустую кофейню с рядами мраморных столиков, со сверкающими зеркалами, светлыми обоями, когда она дала усадить себя на одно из обитых плюшем кресел, совсем такое, как ее скамейка в церкви, ее охватило сильное удивление, как будто она ожидала увидеть здесь грязный притон, подходящий для развратных оргий, которые, если верить молве, всегда происходят в таких именно местах.

В еще большее замешательство ее привело появление добродушного на вид толстяка с несколькими подбородками. Толстяк подошел к ним с улыбкой, быстро согнул в поклоне то место, где у него некогда была талия, и сказал:

– Добро пожаловать, мистер Фойль! Рад видеть вас снова.

– Доброе утро, Луи.

(Значит, это и есть то самое чудовище, хозяин кафе!)

– Удачно съездили, мистер Фойль? Много заработали, надеюсь?

– Еще бы! Эх вы, старый кусок сала! Разве вы до сих пор еще не убедились, что я все умею сбыть? Я сумел бы распродать тонну макарон на улицах Абердина.

Берторелли засмеялся и выразительным жестом развел руками, а от смеха вокруг его полного сияющего лица образовалось еще больше подбородков.

– Это-то дело нетрудное, мистер Фойль! Макароны – хорошая штука, не менее полезная, чем овсянка. От них человек становится такой толстый, как я.

– Это верно, Луи. Вы – живое доказательство, что не следует есть макароны. Ну, не будем говорить о вашей фигуре. Как поживает семейство?

– О, великолепно! Бамбино скоро будет с меня величиной! У него уже два подбородка!

Когда он громко захохотал, Мэри снова с ужасом уставилась на этого злодея, скрывающего свою низость под маской притворного веселья и мнимой добросердечности.

Но тут Денис прервал ход ее противоречивых мыслей, дипломатично спросив:

– Что вы хотите заказать, Мэри? Может быть, макаллум?

У Мэри хватило смелости кивнуть. Она не знала, какая разница между макаронами и макаллумом, но сознаться в своем невежестве при этом архангеле порока было выше ее сил.

– Отлично, отлично, – согласился Берторелли и убежал.

– Славный малый! – заметил Денис. – Честен, как золото. А уж добрее его не найти.

– Да как же… – дрожащим голосом возразила Мэри. – О нем говорят такие вещи…

– Ба! Вероятно, что он ест маленьких детей? Все это просто противное ханжество, Мэри, милая! Нам пора бы отрешиться от него, ведь мы живем не в Средние века. Оттого, что Луи итальянец, он не перестает быть таким же человеком, как мы. Он из какого-то местечка близ Пизы, где стоит знаменитая башня, – знаете, та, что клонится, но не падает. Когда-нибудь мы с вами поедем ее посмотреть. И в Париж поедем, и в Рим, – добавил он небрежно.

Мэри с благоговением посмотрела на этого человека, который называл иностранцев просто по имени и говорил о европейских столицах не с хвастовством, как бедняга Мэт, а со спокойной, хладнокровной уверенностью. Она подумала: какой богатой и яркой могла бы стать жизнь с таким человеком, любящим и сильным, мягким и в то же время смелым. Она чувствовала, что начинает его боготворить.

Она ела макаллум, восхитительную смесь мороженого с малиновым вареньем, блестяще придуманное сочетание легкой кислоты фруктового сока с холодной чудесной сладостью сливочного мороженого, которое таяло на языке, доставляя неожиданное, изысканное наслаждение. Денис, с живым удовлетворением наблюдая ее наивный восторг, под столом тихонько прижимал свою ногу к ее ноге.

И отчего это, спрашивала себя Мэри, она всегда так чудесно проводит время в обществе Дениса? Отчего он своей добротой, щедростью и терпимостью так отличается от всех, кого она знает? Отчего загнутые кверху уголки его рта, светлые блики в его волосах, посадка его головы будят в ней такую радость, что сердце готово перевернуться в груди?

– Нравится вам тут? – спросил он.

– Да, тут и в самом деле очень мило, – согласилась она.

– Оттого я и привел вас сюда. Впрочем, когда мы вместе, нам всюду хорошо. Вот в чем весь секрет, Мэри.

Глаза ее сверкнули в ответ, всем существом вбирала она исходивший от него ток смелой жизнерадостности, и, в первый раз с тех пор, как они встретились, она рассмеялась весело, громко, от души.

– Вот так-то лучше, – поощрил ее Денис. – А то я уже начинал беспокоиться. – Он порывистым движением наклонился через стол и крепко сжал ее тонкие пальчики.

– Если бы ты знала, Мэри, милая, как я хочу видеть тебя счастливой! С первой встречи я влюбился в твою красоту, но то была печальная красота. Казалось, ты боишься, не смеешь улыбнуться, словно кто-то убил в тебе навсегда радость. С того чудного вечера, который мы провели вместе, я постоянно думал о тебе, дорогая. Я тебя люблю и надеюсь, что ты любишь меня. Чувствую, что мы созданы друг для друга. Я не мог бы теперь жить без тебя и хочу быть с тобой, хочу видеть, как ты освобождаешься от своей печали и смеешься каждой моей пустой, глупой шутке. Позволь же мне открыто любить тебя!

Мэри молчала, безмерно тронутая его словами. Наконец она заговорила.

– Как бы мне хотелось быть всегда с вами! – сказала она с грустью. – Я… мне так вас недоставало, Денис. Но вы не знаете моего отца. Он страшный человек. Что-то в нем есть, чего никак не поймешь. Я его боюсь, а он… он запретил мне и говорить с вами.

Денис прищурился:

– Так я для него недостаточно хорош?

Мэри невольно, словно под влиянием острой боли, крепко сжала его пальцы.

– Не говори этого, Денис, голубчик. Ты – чудный, и я люблю тебя, я за тебя умереть готова. Но ты не можешь себе представить, какой властный человек мой отец… ах, это самый гордый человек на свете!

– Да почему же?.. Что он может иметь против меня? Мне стыдиться нечего, Мэри. Почему это ты упомянула о его гордости?

Мэри некоторое время не отвечала. Потом сказала медленно:

– Не знаю… В детстве я никогда над этим не задумывалась, отец был для меня богом – такой большой, сильный, – и каждое его слово было законом. Когда я стала старше, мне начало казаться, что тут есть какая-то тайна, оттого он не такой, как другие люди, оттого он хочет по-своему нас воспитать. И теперь я почти боюсь, что он думает…

Мэри остановилась и взволнованно посмотрела на Дениса.

– Ну, что же он думает? – настойчиво подхватил тот.

– Я в этом не уверена… Я даже не решаюсь сказать… – Она покраснела и неохотно договорила: – Кажется, он думает, что мы каким-то образом приходимся родственниками Уинтонам.

– Уинтонам! – воскликнул недоверчиво Денис. – Самому герцогу! Господи, откуда он это взял?

Мэри уныло покачала головой:

– Не знаю. Он никогда об этом не говорит, но я чувствую, что в глубине души он постоянно носится с этой мыслью. Видишь ли, фамилия Уинтонских герцогов – Броуди, ну, он и… О, как все это глупо, смешно!..

– Смешно! – повторил Денис. – Нет, совсем не смешно! Какую же пользу он рассчитывает извлечь из этого родства?

– Да никакой, – отвечала она с горечью. – Только гордость свою тешит. Иногда он просто отравляет нам жизнь, заставляет нас жить не так, как люди живут. В этом доме, который он себе выстроил, мы в стороне от всех и от всего, и дом этот нас так же гнетет, как он сам.

Увлекшись рассказом о своих тревогах, она в заключение воскликнула:

– Ах, Денис, я знаю, что нехорошо говорить так о родном отце. Но я его боюсь. Никогда, никогда он не позволит нам обручиться.

Денис стиснул зубы.

– Я сам с ним поговорю. Каков бы он ни был, а я сумею его убедить, чтобы он разрешил нам встречаться. Не страшен он мне. Я не боюсь никого на свете.

Она вскочила в сильном испуге.

– Нет, нет, Денис! Не делай этого! Он нас обоих накажет самым ужасным образом.

Она уже видела, как отец, страшный, грубый, сильный, калечит этого юного красавца.

– Обещай, что ты не пойдешь к нему! – закричала она.

– Но нам же необходимо видеться, Мэри, не могу я от тебя отказаться.

– Мы могли бы иногда встречаться потихоньку, – предложила Мэри.

– Ни к чему это не приведет, дорогая. Нам надо решиться на что-нибудь окончательно. Ты знаешь ведь, что я должен жениться на тебе.

Он пристально взглянул на девушку. Зная теперь, как велико ее неведение, он не решился сказать больше. Он только взял ее руку, осторожно поцеловал в ладонь и прижался к ней щекой.

– Скоро мы встретимся опять? – спросил он непоследовательно. – Мне хотелось бы снова гулять с тобой при лунном свете и видеть, как он блестит в твоих глазах, как лучи играют в твоих волосах… – Он поднял голову и с любовью поглядел на руку Мэри, которую все еще держал в своей. – Руки у тебя – как подснежники, такие нежные, и белые, и слабые. Они кажутся прохладными, как снег, когда я прижимаюсь к ним лицом. Я люблю твои руки, Мэри, и люблю тебя.

Им овладело страстное желание иметь ее всегда подле себя. Он мысленно решил, что, если понадобится, вступит в борьбу. Любовь его одолеет все преграды, разделяющие их, будет сильнее самой судьбы. И он сказал твердо, уже другим тоном:

– Но ты ведь все равно выйдешь за меня, даже если придется ждать? Да, Мэри?

В эти мгновения, пока он в ожидании ее ответа сидел молча, слегка поглаживая ее руку, четко выделяясь на кричащем фоне пустого кафе, Мэри увидела в его глазах, как тянется к ней эта близкая душа, услышала в его вопросе лишь просьбу быть счастливой с ним навсегда, и, сразу позабыв обо всех препятствиях, опасностях, совершенной недостижимости этого счастья, ничего не желая знать о браке, только любя Дениса, утопив свой страх в его смелости, сама растворяясь в нем целиком, глубоко глядя ему в глаза, она ответила:

– Да.

Денис не шевельнулся, не упал на колени, не стал в пылких словах выражать свою благодарность. Но в тишине от него к Мэри через их соприкасавшиеся руки словно устремился ток невыразимой страстной любви, а в глазах была такая беззаветная нежность, что, когда они встречались с глазами Мэри, казалось – эта нежность разливалась вокруг обоих сверкающей радугой.

– Ты не пожалеешь об этом, любимая, – шепнул он и, нагнувшись через стол, тихонько поцеловал ее в губы. – Я сделаю все, что в моих силах, чтобы ты была счастлива, Мэри. Я был эгоистом, но теперь я буду думать прежде всего о тебе. Я буду работать для тебя изо всех сил. Я быстро пробивал себе дорогу, а теперь буду делать это еще быстрее. У меня уже отложено кое-что в банке, и если ты согласна подождать, Мэри, то мы скоро попросту уедем отсюда и обвенчаемся.

Потрясающая простота этого решения ошеломила ее, и, подумав о том, как легко будет убежать вместе, неожиданно, тайком от отца и навсегда от него освободиться, она всплеснула руками и прошептала:

– О Денис, неужели это возможно? Мне это не приходило в голову!

– Конечно возможно. И *будет*, дорогая. Я примусь работать так усердно, что мы скоро сможем пожениться… Запомни мой девиз! Мы сделаем его девизом нашего рода. Что нам за дело до Уинтонов! А теперь – ни слова больше, и пускай в этой головке не останется ни единой заботы. Предоставь все мне и помни одно – что я о тебе думаю всегда и всегда стремлюсь к тебе. Нам, может быть, придется соблюдать осторожность, но, разумеется, мне изредка можно будет видеть тебя, хотя бы только любоваться тобой издали.

– Да и мне непременно надо иногда видеться с тобой. Без этого было бы слишком тяжело жить, – прошептала Мэри. И вдруг придумала выход: – По вторникам я хожу в библиотеку менять книги для мамы, а иногда и для себя.

– Да ведь я это давно сам узнал, глупышка! – засмеялся Денис. – До тех пор, пока это дело кончится, я, верно, успею познакомиться с литературными вкусами твоей матери. Как будто я не знаю, что ты ходишь в библиотеку! Я там буду тебя подстерегать, не беспокойся! Но знаешь что: мне хотелось бы иметь портрет моей дорогой девочки, чтобы не умереть с тоски в промежутках между встречами.

Мэри, немного сконфуженная тем, что приходится сознаться в пробелах и странности своего воспитания, возразила:

– У меня нет ни единой фотографии. Отец нам не позволял сниматься.

– Что?! Твои родители отстали от века, моя милая. Придется их подтянуть. Подумать только, что ты ни разу в жизни не снималась! Срам, да и только. Ну да ничего, как только мы станем мужем и женою, я в ту же минуту сфотографирую твое милое личико. Как тебе нравится вот это? – спросил он, показывая ей довольно туманный снимок щеголеватого молодого человека, стоявшего с бодрым и неуместно веселым и развязным видом среди каких-то камней, напоминающих миниатюрные надгробные памятники.

– Денис Фойль на Дороге гигантов в прошлом году, – пояснил он. – Вот старуха, которая там продает раковины, знаешь, те большие, что поют, если их поднести к уху. Она в тот день мне гадала. Сказала, что я счастливчик, что меня ждет удача, – видно, она знала, что я встречу тебя.

– Можно мне взять себе эту фотографию, Денис? – попросила Мэри застенчиво. – Она мне очень нравится.

– Она – твоя, никому другому она не достанется, если ты обещаешь носить ее поближе к сердцу.

– Мне придется носить ее там, где ее никто не увидит, – отвечала она наивно.

– Это меня удовлетворяет. – И Денис лукаво улыбнулся, когда от его тона краска вдруг залила чистый лоб девушки. Но он тотчас же честно извинился: – Не сердись на меня, Мэри. Знаешь пословицу «Язык мой – враг мой»…

Оба засмеялись. Мэри, от души веселясь, чувствуя, что готова вечно слушать его шутки, понимала вместе с тем, что он таким образом пытается подбодрить ее перед разлукой, и любила его за это еще больше. Его отвага передавалась и ей, его открытый и смелый подход к жизни бодрил ее, как холодный и чистый воздух бодрит узника после долгого заточения в духоте. Все эти мысли нахлынули на нее, и она сказала невольно:

– Ты делаешь меня счастливой и свободной, Денис. С тобой мне так легко дышится. Я не понимала, что такое любовь, пока не встретилась с тобой. Я никогда о ней не думала, а теперь знаю, что для меня любить – значит всегда быть с тобой, дышать с тобой одним воздухом…

Она вдруг замолчала, охваченная смущением, стыдясь своей смелости. Бледное воспоминание о той ее жизни, которая проходила без Дениса, забрезжило в памяти, и, когда взгляд ее упал на груду свертков, она вспомнила о матери, которая, верно, недоумевает, куда девалась Мэри. Она подумала о том, как непозволительно долго задержалась в городе, как необходимо быть очень осторожной теперь, и, порывисто вскочив, сказала с коротким вздохом:

– Мне нужно сейчас же идти домой, Денис.

Эти слова тяжестью легли на сердце Дениса. Но он не стал просить Мэри остаться, а со стойкостью, подобающей мужчине, тотчас ответил:

– Мне не хочется тебя отпускать, дорогая, и я знаю, что тебе не хочется уходить, но теперь нам будущее уже не страшно. Нужно только любить друг друга и ждать.

Они все время были одни. Берторелли скрылся бесследно, доказав этим, что если он и чудовище, то, во всяком случае, не лишен человечности и такта, которые способны хотя бы немного уравновесить тяжесть приписываемых ему злодеяний.

Они торопливо поцеловались, и губы Мэри на мгновение затрепетали на губах Дениса, как крылья бабочки. У дверей они обменялись последним взглядом, как священным талисманом, немым залогом взаимного понимания, доверия и любви. Затем Мэри отвернулась и вышла.

Ее сумка теперь казалась легкой, как перышко, ноги двигались быстро, в такт пляшущему в груди сердцу, и с высоко поднятой головой, с растрепанными и развевающимися на ветру локонами она дошла домой раньше, чем улеглось восторженное состояние ее духа. Когда она влетела в кухню, миссис Броуди вопросительно посмотрела на нее, скосив глаза:

– Где это ты так задержалась, девочка? Долго же ты закупала эту горсточку провизии! Встретила кого-нибудь из знакомых? Расспрашивали тебя про Мэта?

Мэри чуть не засмеялась прямо в лицо матери. На одно мгновение она представила себе, какой эффект получился бы, если бы она рассказала, что только что ела мороженое, дивное, как небесная амброзия, поданное ей тем самым гнусным злодеем, который травит бамбино макаронами, в запретном месте – грязном притоне и в обществе молодого человека, который обещал провести с ней медовый месяц в Париже. И хорошо, что воздержалась от откровенно-

сти: если бы она сделала такую глупость, то миссис Броуди или решила бы, что дочь сошла с ума, или тотчас же упала бы в обморок.

– Свежий воздух, видно, принес тебе пользу, – продолжала мама несколько подозрительно. – Вот ты как разрумянилась!

Несмотря на всю ее доверчивость, материнский инстинкт нашептывал ей сомнения в таком быстром действии ливенфордского воздуха, который до сих пор всегда оказывался бессильным.

– Да, я чувствую себя сейчас гораздо лучше, – подтвердила Мэри невинно, а губы ее дергались, в глазах сверкали искры смеха.

– Когда ты ушла, бабушка тут говорила что-то насчет письма, которое ты при ней читала, – не унималась миссис Броуди, встревоженная неясной догадкой. – Надеюсь, ты не позволишь себе ничего такого, что не понравилось бы отцу! Не вздумай идти против него, Мэри! Те, кто пытался так делать, потом жалели об этом. Результат всегда один и тот же… – Она вздохнула, вспоминая что-то, потом добавила: – Он рано или поздно узнает и положит всему конец. Ох, и конец будет скверный, очень скверный!

Мэри движением плеч сбросила жакетку. За последний час ее стройная фигура снова обрела юную живость, бодрую жизненную силу. Она стояла выпрямившись, полная неукротимой, доверчивой радости.

– Мама, – сказала она весело, – не беспокойся обо мне. Мой девиз отныне: «Мэри никогда не сдается».

Миссис Броуди грустно покачала головой и, мучимая каким-то смутным, невнятным предчувствием, собрала покупки. Еще меланхоличнее склонив голову набок, зловещая, как воплощенное предзнаменование горя, она медленно вышла из кухни.

VI

– Несси! Мэри! – визгливо кричала миссис Броуди, в неистовом усердии суетясь вокруг мужа, которому она помогала одеваться. – Идите сюда и застегните отцу гетры!

Это было в субботу утром, двадцать первого августа, – один из дней, отмеченных красным в календаре Джемса Броуди. Одетый в куртку и короткие штаны из клетчатой материи в крупную черную и белую клетку, он сидел багровый, как солнце на закате, пытаясь застегнуть гетры, которые надевал в последний раз ровно год тому назад, в этот же день, причем с такими же точно затруднениями, хотя сейчас предпочитал делать вид, что не помнит этого факта.

– И что за идиотская манера прятать гетры сырыми! – шипел он на жену. – Теперь они, конечно, на мне не сойдутся. Черт побери, неужели в этом доме не могут ни одну вещь сохранить в приличном виде? Вот теперь гетры ссохлись и не годятся.

Что бы ни случилось в доме, все бремя вины неизменно возлагалось на слабые плечи жены.

– Стоит только человеку не присмотреть самому за какой-нибудь вещью в доме, непременно ее испортит какое-нибудь безмозглое существо! Как я теперь пойду на выставку без гетр? Ты скоро предложишь мне ходить без воротничка и галстука!

– Знаешь что, отец, – кротко возразила миссис Броуди, – должно быть, в этом году ты носишь башмаки чуточку пошире. Эта новая пара, которую я сама тебе заказывала, пошире других.

– Вздор! – проворчал Броуди. – Ты бы еще сказала, что ноги у меня стали больше!

Тут в комнату, как молодой жеребенок, вбежала Несси, а за нею медленно следовала Мэри.

– Скорее, девочки! – торопила мать. – Застегните отцу гетры. Смотрите же, не возитесь долго, он и так уже опоздал.

Молодые прислужницы опустились на колени и принялись проворными пальцами ловко и энергично выполнять порученное им дело, а Броуди развалился в кресле и, кипя гневом, метал сердитые взгляды на жену, с виноватым видом стоявшую перед ним. Катастрофа с гетрами была тем более неприятна для миссис Броуди, что в этот день имелись все основания рассчитывать на хорошее настроение Джемса, и мысль, что она сама испортила себе редкое счастье – день без бурь, сама вызвала извержение недействовавшего вулкана, угнетала ее больше, чем брань, которой ее в данный момент осыпал муж.

То был день открытия ливенфордской выставки племенного скота, выдающегося события в сельскохозяйственных кругах, день, когда центром всеобщего внимания являлась генеалогия как скота, так и представителей человеческой породы, населявших графство. Броуди любил эти выставки, и посещение их превратилось у него в неизменный ежегодный обычай. Ему доставляло удовольствие любоваться на красивых коров с гладкой блестящей шкурой и набухшим выменем, на мускулистых клайдесдальских жеребцов, гордую поступь верховых лошадей на беговом круге, откормленных свиней, овец с густой курчавой шерстью, и он гордился тем, что хорошо разбирается в достоинствах всех этих животных.

«Я больше всех вас понимаю в этом деле, – казалось, говорил он всем своим видом, стоя вплотную рядом с членами жюри и в одной руке держа свою знаменитую ясеневую трость, а другую засунув глубоко в карман. – И я – торговец шляпами! Смех, да и только!»

Здесь он был в своей стихии, на переднем плане, занимая видное место среди лучших экспертов. Постояв, он отправлялся бродить между палаток, сдвинув шляпу на затылок; отрезал своим перочинным ножом то здесь, то там ломтик сыра и с критическим видом пробовал его; пробовал и выставленные различные сорта масла, сливки, пахтанье; грубо заигрывал с самыми аппетитными и смазливыми молочницами, стоявшими подле своих экспонатов.

В такие дни расцветала та часть его души, которая еще не оторвалась от деревни, от земли. От предков со стороны матери, Лумсденов, которые в течение нескольких поколений были фермерами в поместьях уинтонских баронов, он получил в наследство глубоко вкоренившуюся любовь к земле, к тому, что она рождает, к животным. Тело его тосковало по тяжелому деревенскому труду, потому что в юности он ходил за своей упряжкой по глинистым полям Уинтона и переживал восторг прикосновения к щеке ружейного приклада. От отца же своего, Джемса Броуди, угрюмого, жестокого, неукротимого человека, он, единственный сын, унаследовал гордость, вскормленную стремлением владеть землей. И только перемена обстоятельств после смерти обедневшего отца, который разбился, упав с лошади, вынудила Джемса уже в ранней молодости заняться внушавшей ему отвращение торговлей.

Однако и другие, более веские причины побуждали его ходить на выставку: страстное желание встречаться, как равный с равными, с мелкими дворянами, съезжавшимися со всего графства. Он держал себя с ними без всякого раболепства, скорее даже с оттенком дерзкого высокомерия, тем не менее любезный кивок, беглое приветствие или несколько минут разговора с каким-нибудь видным представителем знати доставляли ему глубокое внутреннее удовлетворение, опьяняли суетным восторгом.

– Вот и готово, папа! Я первая кончила! – закричала с торжеством Несси. Своими проворными детскими пальцами она наконец застегнула доверху одну из непокорных гетр.

– Ну, Мэри, поторопись и ты! – взмолилась миссис Броуди. – Какая ты копунья! Не ждать же отцу целый день, пока ты кончишь!

– Не мешай ей, – сказал Броуди ироническим тоном. – Что за беда, если я и опоздаю: вам, должно быть, хочется держать меня здесь целый день.

– Она никогда ничего не делает так проворно, как Несси, – вздохнула мама.

– Готово, – объявила наконец и Мэри, вставая и шевеля онемевшими пальцами.

Отец осмотрел ее критическим взглядом:

– Знаешь, ты обленилась, дочь моя, вот в чем вся беда. Я замечаю, что ты растолстела, как бочка! Тебе бы следовало есть поменьше да работать побольше.

Он поднялся и подошел к зеркалу, в то время как миссис Броуди, а за нею и дочери вышли из комнаты. Пока он со все возраставшим самодовольством разглядывал себя в зеркале, к нему окончательно вернулось хорошее настроение. Толстые мускулистые ноги превосходно обтянуты короткими панталонами, а под мохнатыми шерстяными чулками домашней вязки красиво круглятся икры; плечи широкие и прямые, как у борца; ни одна лишняя унция жира не портит фигуры; кожа чистая, без пятнышка, как у ребенка. Он представлял собой совершенный тип провинциального дворянина, и когда это обстоятельство, уже ранее ему известное, с живой убедительностью подтвердило отражение в зеркале, он закрутил усы и погладил подбородок с чувством удовлетворенного тщеславия.

В эту минуту дверь тихонько отворилась, и бабушка Броуди осторожно заглянула в комнату, желая разведать, в каком настроении сын, раньше чем заговорить с ним.

– Можно мне поглядеть на тебя, Джемс, пока ты еще здесь? – спросила она заискивающе после осторожной паузы. День выставки вызывал в ее отупевшей душе чувство, близкое к радостному возбуждению, рожденное полузабытыми воспоминаниями молодости, которые беспорядочно нахлынули на нее.

– Ты прямо-таки красавец! У тебя как раз такая фигура, какая должна быть у настоящего мужчины, – сказала она сыну. – Эх, жаль, что мне нельзя пойти туда с тобой!

– Ты слишком стара, чтобы тебя выставлять, мать, хотя за прочность могла бы, пожалуй, получить медаль, – съязвил Броуди.

Глухота помешала ей расслышать как следует, что сказал сын, и она была слишком занята своими мыслями, чтобы понять его замечание.

– Да, я уже немножечко старовата, чтобы выходить, – пожаловалась она, – а бывало, я повсюду на первом месте – и среди доильщиц, и на выставке, и после выставки, когда плясали джигу и когда баловались во время долгого пути домой по ночной прохладе. Все, все теперь вспоминается…

Ее тусклые глаза заблестели.

– А какие ячменные и пшеничные лепешки мы пекли!.. Хотя в ту пору я на них и внимания не обращала.

Она вздохнула, сожалея о потерянных возможностях.

– Эх, мать, неужели ты не можешь хоть когда-нибудь забыть о еде? Можно подумать, что ты у меня голодаешь, – пристыдил ее Броуди.

– Нет, нет, Джемс! Я очень благодарна за все, что мне дают, и дают мне много. Но, может быть, сегодня ты, если увидишь хороший кусочек чедерского сыра, не слишком дорогого… в конце дня всегда можно купить задешево… Может быть, ты захватишь его для меня? – Она умильно посмотрела на сына.

Броуди громко расхохотался:

– Ох, уморишь ты меня, мать! У тебя один только бог – твой желудок. Я сегодня рассчитываю повидать сэра Джона. Что же, ты хочешь, чтобы я встретил его, нагруженный мешками и пакетами? – прикрикнул он на нее и с шумом вышел из комнаты.

Его мать поспешила к окну своей спальни, чтобы увидеть, как он выйдет из дому. Здесь она просиживала в этот день чуть не до вечера и, напрягая зрение, глядела на скот, который вели с выставки, и любовалась разноцветными картонными ярлыками (красные означали первую премию, синие – вторую, зеленые – третью, а желтые – только похвальный лист), с упоением наблюдала толчею и суету в толпе крестьян, пытаясь (но всегда безуспешно) найти знакомое лицо в этой валившей мимо толпе. Кроме того, ее не покидала приятная надежда, что сын, быть может, принесет ей с выставки маленький подарок, и самая невероятность этого дразнила ее воображение. Что ж, во всяком случае, она его попросила, больше она ничего не может сделать, и остается только ждать.

Так она благодушно размышляла, торопливо усаживаясь в кресло на своем наблюдательном посту.

Внизу Броуди, уходя, обратился к Мэри:

– Ты бы сходила на предприятие и напомнила этому ослу Перри, что сегодня меня не будет весь день. – (Лавка в разговорах семьи Броуди фигурировала не иначе как под названием «предприятие»; в слове «лавка» усматривалось нечто унизительное.) – Он может забыть, что сегодня он не свободен. Этот субъект способен забыть о своей собственной голове. Беги во всю прыть, дочка, – кстати, тебе это полезно: спустишь немного жира.

Маме же он бросил, уходя:

– Буду дома тогда, когда приду.

Таково было обычно его прощальное приветствие в тех редких случаях, когда он считал нужным с ней прощаться. Оно расценивалось как величайшая милость, и мама приняла его с подобающей признательностью.

– Желаю тебе веселиться, Джемс, – ответила она робко, ободренная его хорошим настроением и торжественностью дня. Только в таких редких и исключительных случаях осмеливалась она называть мужа по имени. Лишнее доказательство того, какое незначительное место занимала она в его жизни.

Она и подумать не смела, что ей также доставило бы удовольствие побывать на выставке; с нее достаточно было уж и того, что предоставлялась возможность полюбоваться статной фигурой мужа, когда он отправлялся куда-нибудь один развлекаться, и нелепая идея, что она могла бы сопровождать его, никогда не приходила ей в голову. Ей нечего надеть, она нужна дома, да и не такое у нее здоровье, чтобы выдержать пребывание в течение целого дня на све-

жем воздухе. Любого из этих или из десятка других доводов достаточно было, чтобы убедить эту робкую женщину в невозможности бывать где-либо вместе с мужем. «Надеюсь, погода не испортится и он хорошо погуляет», – бормотала она про себя, возвращаясь в дом, чтобы приняться за мытье посуды после завтрака, в то время как Несси из окна гостиной махала рукой вслед удалявшейся спине отца.

Когда дверь захлопнулась за хозяином дома, Мэри медленно побрела наверх, в свою комнату, села на край кровати и стала смотреть в окно. Но она не видела, как в ясном блеске утра сверкали гладкие стволы трех стройных берез, которые высились, подобно серебряным мачтам, напротив ее окна. Она не слышала, как шептались листья, на которых сменялись свет и тень, когда слабый ветерок шевелил ими. Уйдя в себя, сидела она и думала о том замечании, которое давеча бросил отец, с беспокойством и тоской переворачивая его в уме на все лады. «Мэри, ты становишься толстой, как бочка», – фыркнул он. Он просто хотел сказать, должно быть, что она физически развивается, быстро растет и полнеет, как полагается в ее возрасте. Так уверяла себя Мэри, но почему-то это замечание, как внезапный луч света, ворвалось во мрак ее неведения и вдруг вызвало в душе острую тревогу.

Ее мать, как страус, нервно прятала голову при малейшем намеке на некоторые вопросы, если они всплывали на их домашнем горизонте, и не сочла возможным просветить дочь даже насчет самых элементарных физиологических явлений. На всякий простодушный вопрос дочери она отвечала в ужасе: «Тсс, Мэри, замолчи сейчас же! Нехорошо говорить о таких вещах! Порядочные девушки о них не думают! Просто стыдно задавать такие вопросы!» С другими девушками Мэри так мало встречалась, что она лишена была возможности узнать что-либо хотя бы из тех осторожных хихиканий и намеков, которые иногда позволяли себе даже самые примерные и жеманные городские барышни. Отдельные обрывки разговоров, которые ей случалось иногда подслушать, отскакивали от ее непонимающих ушей или отвергались природной тонкостью чувств, и Мэри жила в наивном неведении, не веря, быть может (если она вообще об этом когда-нибудь размышляла), в басню о том, что детей приносит аист, но не имея самого элементарного представления о тайне зачатия.

Даже то, что вот уже три месяца, как прекратились некоторые нормальные отправления ее тела, не вызывало волнения в прозрачном озере ее девственной души, и только сегодня утром грубая фраза отца, которая где-то в тайных извилинах ее мозга вдруг приняла иной смысл, получила другое, искаженное толкование, ударила в нее с убийственной силой.

Разве она изменилась? Мэри взволнованно провела руками по всему своему телу. Нет, оно все то же, ее тело, ее собственное, принадлежащее целиком ей одной. Как может оно измениться? Она вскочила в паническом испуге, заперла на ключ дверь спальни, сорвала с себя кашемировую кофточку, юбку, потом нижнюю юбку, тесный лифчик, сняла все и стояла смущенная, в целомудренной наготе, трогая себя неловкими руками. До сих пор ее тело, когда она его рассматривала, не вызывало в ней ничего, кроме мимолетного интереса. Она тупо смотрела на желтовато-белую кожу, подняла руки над головой, потянулась вся, гибкая, упругая, безупречно красивая. Небольшое зеркало, стоявшее на ее туалетном столике, не отразило в своей глубине ни единого недостатка, ни единой несовершенной черты, которые могли бы подтвердить или рассеять ее неясные опасения, и, как ни вертела она головой во все стороны, ее испуганный взгляд не сумел обнаружить никакого внешнего позорного нарушения пропорций, которое громко вопило бы об уродстве внутреннем. Она не могла решить, изменилось ли в ней что-либо. Стала ли ее грудь полнее? Или менее нежны ее розовые, как перламутр, соски? Или круче мягкий изгиб бедер?

Мучительное недоумение овладело ею. Три месяца тому назад, когда она лежала в объятиях Дениса в состоянии какой-то бессознательной отрешенности от всего, она слепо подчинилась инстинкту и с закрытыми глазами отдалась мощному влечению, пронизавшему ее тело. Ни рассудок, если бы она и хотела его слушаться, ни понимание того, что с нею проис-

ходит, если бы она это понимала, – ничто не могло бы ее остановить. Потрясающие ощущения нестерпимо-сладостной боли, невыразимо упоительного блаженства захлестнули сознание, и она ничего не узнала о том, что с ней произошло. Тогда она не в состоянии была ни о чем думать, теперь же она смутно недоумевала, что за таинственный процесс вызван в ее теле силой их объятий, возможно ли, чтобы слияние их губ каким-то непонятным образом изменило ее, изменило глубоко и бесповоротно.

Она чувствовала себя беспомощной, была в полной растерянности и нерешимости, сознавала, что надо что-то сделать, чтобы тотчас же рассеять эту внезапную душевную тревогу. Но что? Поспешно надевая снова одежду, брошенную на пол, она сразу же отвергла мысль посоветоваться с матерью, отлично зная, что робкая душа мамы в ужасе отпрянет при первых ее словах об этом. Мысли ее невольно обратились к Денису, постоянному утешению, но в тот же миг, к еще большему своему ужасу, она вспомнила, что не увидит его по меньшей мере неделю, да и увидит-то, может быть, только на одну минуту.

Со времени той чудесной беседы с ним у Берторелли их встречи бывали коротки (хотя всякий раз так же радостны), и по взаимному уговору они соблюдали при этом тщательную осторожность. Эти беглые встречи с Денисом составляли ее единственное счастье, но она чувствовала, что во время торопливого обмена словами любви и ободрения никогда у нее не хватит смелости хотя бы как-нибудь косвенно спросить у Дениса совета, в котором она нуждалась. При одной мысли об этом она залилась стыдливым румянцем.

Одевшись и отперев дверь, она сошла вниз, где мать, окончив то, что она называла «приводить все в приличный вид», удобно расположилась в кресле с книгой, надеясь без помехи провести часок за чтением. Мэри с грустью подумала, что в этих книгах никогда не описываются положения, подобные тому, в котором очутилась она; что в этих романах с клятвами, целованием кончиков пальцев, нежными речами и благополучным концом нет никаких указаний, которые разрешили бы ее недоумение.

– Я пойду в лавку, мама. Отец велел мне сходить туда до обеда, – сказала она после минутного колебания, обращаясь к согнувшейся над книгой, поглощенной чтением матери.

Миссис Броуди, которая в этот момент восседала в гостиной одного суссекского поместья, окруженная избранным обществом, и вела глубокомысленную беседу с викарием местного прихода, не ответила, не слышала даже слов дочери. Когда она зачитывалась какой-нибудь книгой, она, по выражению мужа, «превращалась в одержимую».

– Ты совсем очумела от этого вздора, – заворчал он на нее однажды, когда она не сразу ответила на его вопрос. – Присосалась к книге, как пьяница к бутылке! Кажется, если бы дом загорелся у тебя над головой, ты бы все так же сидела и читала!

Поэтому Мэри, хмуро поглядев на мать, решила, что бесполезно обращаться к ней, что в настоящий момент от нее не дождаться толкового, а тем более утешительного слова, и, незамеченная, молча вышла.

Погруженная в грустные мысли, она шла медленно, с поникшей головой, но, несмотря на то что шла так медленно, добралась до лавки раньше, чем у нее мелькнул хотя бы проблеск какого-нибудь решения мучившей ее загадки.

В лавке был один только Питер Перри. Оживленный, исполненный чувства собственного достоинства, упивавшийся сознанием своей полной и единоличной ответственности, он приветствовал Мэри потоком любезных слов. Лицо его сияло от восторга, бледные щеки еще больше побледнели от радостного волнения, вызванного ее приходом.

– Вот уж действительно приятный сюрприз, мисс Мэри! Не часто мы имеем счастье видеть вас в нашем предприятии! Очень, очень приятно! – твердил он, суетливо потирая свои тонкие, прозрачные, суженные к концам пальцы. Потом замолчал в полнейшей растерянности. Он был просто потрясен неожиданным стечением обстоятельств, которое привело Мэри в лавку как раз в тот день, когда отец ее отсутствовал и он, Перри, мог поговорить с нею. Но

от смущения у него сразу вылетели из памяти те сверкающие остроумием беседы, которые он так часто мысленно вел в кругу царственно прекрасных молодых дам высшего общества, так сказать репетируя в ожидании такого случая, какой представился ему сейчас. И он безмолвствовал, он, мечтавший об этой счастливой минуте, не раз говоривший себе: «Если бы мне повезло, то-то я блеснул бы перед мисс Мэри!» Он, который так красноречиво, с такой снисходительной развязностью беседовал с гладильной доской сквозь пар, наполнявший чуланчик за лавкой, теперь стоял молча, словно язык проглотил. Он, который в поэтические часы досуга, лежа в постели по воскресным утрам и устремив глаза на медную шишечку кровати, словно на диадему, чаровал герцогинь изысканностью своего разговора, был нем, как паралитик. Он ощущал какую-то расслабленность во всем теле, кожа у него зудела, из всех пор струился липкий пот; он окончательно потерял голову и, закусив удила, пробормотал привычной скороговоркой профессионала-приказчика:

– Пожалуйста, присядьте, сударыня, чем могу служить?

Но тотчас же ужаснулся, вся кровь бросилась ему в голову, и фигура Мэри расплылась, как в тумане, перед его глазами. Он не покраснел – этого с ним никогда не бывало, но от смущения все закружилось у него в голове. Однако, к его недоумению и облегчению, Мэри не выказала ни изумления, ни гнева. По правде говоря, мысли ее были все еще далеко, она не вполне очнулась от мрачной задумчивости, не слушала Перри и без всякого удивления, с одной лишь благодарностью приняв стул, который он машинально предложил ей, со вздохом усталости села.

Через некоторое время она подняла глаза, словно только что увидев молодого приказчика.

– Ах, мистер Перри, – воскликнула она, – я… я, должно быть, задумалась: я и не заметила, что вы тут.

Перри немного огорчился. Глядя на его лицо и развинченную фигуру, никак нельзя было поверить, что он питает освященную традицией тайную страсть к дочери хозяина. Между тем дело обстояло именно так, и в самых заветных, честолюбивых и необузданных мечтах Перри даже рисовал себе, как он, молодой человек исключительных достоинств, станет компаньоном в деле после того, как с домом Броуди его свяжут узы более тесные, чем низменные узы торговли.

Мэри, ничего не подозревая об этих радужных мечтах и в душе испытывая смутную жалость к робкому юноше, так явно запуганному ее отцом, ласково посмотрела на него.

– У меня к вам поручение, мистер Перри, – сказала она. – Мистер Броуди сегодня не придет и просил, чтобы вы в его отсутствие присмотрели за всем.

– О, непременно, мисс Броуди! Я так и полагал, что ваш отец сегодня пойдет на выставку. Я уже сделал все нужные приготовления для того, чтобы пробыть здесь весь день. Здесь и позавтракаю. Я ведь отлично знаю, как мой шеф любит такие зрелища.

Если бы Броуди услыхал, в каком тоне о нем говорят, он бы уничтожил своего приказчика единым взглядом. Но Перри уже оправился от смущения, готовился показать себя во всем блеске и мысленно похвалил себя за последнюю цветистую фразу.

– Но и в отсутствие шефа работа будет идти своим чередом, мисс Броуди, и, я надеюсь, идти хорошо, – добавил он звучно. – Смею вас уверить, я сделаю для этого все, все, что в моих силах. – Тон его был так серьезен, влажные глаза сияли так красноречиво, что при всей своей апатии Мэри неожиданно стала благодарить его, сама не зная за что.

Как раз в эту минуту вошел покупатель, корабельный плотник, которому нужна была новая шапка, но Мэри, которой представился удобный случай уйти, продолжала сидеть, прикованная усталостью к удобному стулу и словно расслабленная душевным оцепенением. Ей не хотелось идти домой, и Перри, пользуясь счастливой возможностью развернуть свои таланты перед ее глазами (хотя и следившими за ним довольно равнодушно), торжественно обслужи-

вал покупателя, проделывая чудеса ловкости и проворства с картонками и лесенкой и даже с бумагой и бечевкой. Проводив покупателя, он воротился за прилавок и, наклонившись вперед, сказал самодовольным и конфиденциальным тоном:

– Замечательное предприятие у вашего отца, мисс Броуди, настоящая монополия. – Перри остался весьма доволен и этой своей фразой. Хотя термин был им позаимствован из книги по экономическим вопросам, которую он одолевал по ночам, он произнес его таким тоном, как будто это было его собственное умозаключение, глубокое и оригинальное.

– Правда, если мне позволено высказать мое мнение, можно было бы еще улучшить торговлю, введя какие-нибудь новшества, даже и помещение расширить не мешало бы, – заключил он внушительно.

Мэри не отвечала, и его угнетала мысль, что он не сумел заинтересовать ее. Беседа выходила несколько односторонняя.

– Надеюсь, вы здоровы? – осведомился он после продолжительной паузы.

– Вполне, – отозвалась она машинально.

– А мне показалось, что вы, осмелюсь сказать, лицом как будто похудели.

Мэри посмотрела на него:

– Похудела, вы находите?

– Несомненно.

Он ухватился за повод взглянуть в ее безучастное хмурое лицо. Он смотрел на это лицо с выражением почтительной заботливости, потом, наклонясь к прилавку и оперев подбородок на скрещенные пальцы, изобразил усиленное восхищение.

– Осмелюсь сказать, – продолжал он отважно, – вы хотя и прекрасны, как прежде, но кажетесь немного нездоровой. Боюсь, что вас измучила жара. Не угодно ли стакан воды?

Раньше чем Мэри успела отказаться, он вскочил со стремительной услужливостью, вылетел, как пуля, за дверь, тотчас же вернулся со стаканом, налитым до краев сверкающей влагой, и сунул холодный, запотевший стакан в вялую руку Мэри.

– Выпейте, мисс Мэри, – упрашивал он, – это вас освежит.

Когда она, чтобы не обидеть его, сделала несколько глотков, внезапная мысль наполнила его тревогой.

– Надеюсь, вы не болели? Какая вы бледная! Вы не обращались к доктору? – спрашивал он с усиленной заботливостью.

При этих словах Мэри так и застыла на месте, не донеся стакана до губ. Словно молния сверкнула перед ней, указав ей дорогу. Она поглядела на Перри с пристальным вниманием, затем устремила глаза через открытую дверь вдаль, и в душе ее созрело внезапное решение, отчего линия рта сразу стала твердой и прямой.

С минуту она сидела неподвижно, затем, как под влиянием резкого толчка, встала, пробормотала: «Мне пора идти, мистер Перри. Благодарю за вашу любезность». И, раньше чем он успел опомниться, спокойно вышла из лавки, оставив Перри тупо глазеющим на стакан, на пустой стул, в пустое пространство. «Что за странная девушка! – думал он. – Вдруг встала и ушла, хотя я был так любезен с ней! Впрочем, женщины – странные создания!.. И в конце концов, я успел показать себя в самом лучшем свете».

И, успокоившись, мистер Перри принялся насвистывать.

Выйдя на улицу, Мэри повернула не направо, к дому, а налево, по дороге, которая вела на дальнюю окраину города, в Ноксхилл. Случайное замечание Питера Перри подсказало ей выход, которого она до сих пор слепо искала, и оно-то побудило ее теперь идти в Ноксхилл. Она решила обратиться к какому-нибудь доктору. Доктора всё знают, им можно довериться, они добры: они исцеляют, дают советы, успокаивают, они хранят доверенную им тайну. Она первым делом подумала о единственном знакомом враче, докторе Лори, который официально считался их домашним врачом, хотя бывал в их доме раз в десять лет. Ей живо вспомнилось,

как он в свой последний визит положил ей руку на голову и сказал с показным добродушием: «Даю пенни за один локон, мисс! Идет? У вас их и так достаточно!» Ей тогда было десять лет, и пенни она получила, несмотря на то что доктор не срезал у нее локона. С тех пор он ни разу не был у них в доме, но Мэри часто встречала его на улице, в его двуколке, в которой он целый день разъезжал по больным. В ее глазах он остался таким, каким запечатлелся в детской памяти, – ученым, великим человеком, занимавшим особое место среди других. Лори жил в Ноксхилле на склоне холма, в большом особняке, старом, обросшем мхом, но производившем еще внушительное впечатление. Решительно направляясь к этому дому, Мэри вспомнила, что прием у доктора начинается с двенадцати часов.

До Ноксхилла было далеко, и Мэри, шедшей вначале с лихорадочной торопливостью, скоро пришлось замедлить шаг. А ведь несколько месяцев тому назад она могла бы пробежать все это расстояние, ничуть не запыхавшись! Быстро утомившись, она почувствовала, что и решимость ее слабеет, и стала раздумывать, что она скажет доктору. Мысль обратиться к нему за советом показалась ей сперва такой удачной, что она не подумала о том, как трудно ей будет осуществить ее. Но сейчас эти трудности представлялись ей настойчиво, с мучительной ясностью и с каждым шагом казались все более непреодолимыми. Начать ли ей с разговора о своем здоровье? Доктор, конечно, первым делом удивится, что она пришла одна, без матери. Это была неслыханная вещь, и Мэри подумала, что он, может быть, даже откажется ее принять одну; если же он и согласится ее принять и она по неопытности приведет недостаточно вескую причину своего прихода, то он, конечно, несколькими пытливыми вопросами разобьет непрочную ткань лжи, сплетенную ею, и пристыдит ее. Она уныло подумала, что единственный выход – сказать доктору всю правду, довериться ему. Но что, если он расскажет родителям? Оправдывает ли цель ее визита к нему такой ужасный риск? Мысли ее путались в лабиринте нерассуждающей тревоги, когда она начала взбираться по Ноксхиллскому холму.

Наконец она дошла до ворот дома Лори, на которых, подобно оку оракула, притягивающему всех больных и страждущих, сверкала большая медная доска, некогда, в первые тревожные дни своего существования, искалеченная камнями озорных уличных мальчишек, а ныне отполированная и начищенная до такого блеска, что на ней ничего нельзя было разобрать.

Пока Мэри стояла у ворот, пытаясь подавить дурные предчувствия и собирая свое мужество, она увидела приближавшегося пожилого мужчину, в котором узнала старого знакомого. Сообразив с внезапным испугом, что рискованно войти к доктору, пока этот человек не скроется из виду, она повернулась спиной к нему и медленно прошла мимо дома. Краем глаза рассматривала она этот большой, массивный дом со строгим портиком в стиле Георгиевской эпохи, с окнами, таинственно завешенными портьерами шафранного цвета; беспокойство ее росло, дом, маячивший перед глазами, казалось, нависал над ней все большей громадой, сомнения нахлынули с новой, еще большей силой. Она подумала, что неразумно идти к врачу, который так хорошо ее знает. Денису может не понравиться, что она сделала такой шаг, не посоветовавшись сначала с ним. Может быть, лучше выбрать более удобное время для посещения доктора? Она ведь не больна, она здорова, как всегда, у нее все нормально, она просто жертва собственного воображения, и то, что она делает, ненужно и опасно.

Теперь на улице не было ни души, и надо было либо войти сразу в дом, либо не входить вовсе. Говоря себе, что она сначала войдет, а потом подумает обо всех своих затруднениях, она уже положила было руку на щеколду калитки, но вдруг вспомнила, что у нее нет с собой денег, чтобы уплатить доктору, а уплатить следовало, хотя бы он этого и не потребовал, теперь же, чтобы избежать осложнений, могущих повести к раскрытию ее тайны. Она отдернула руку и снова начала в нерешительности ходить по тротуару, как вдруг увидела горничную, выглядывавшую из-за портьеры одного из окон. Горничная ее не замечала, но взволнованной Мэри почудилось, что та подозрительно ее рассматривает, и это мнимое наблюдение за ней отняло у нее последнюю каплю решимости. Она почувствовала, что больше не в состоянии выносить

мучительные колебания, с виноватым видом торопливо пошла прочь от дома, словно уличенная в каком-нибудь ужасном проступке.

Она снова проделала тот же утомительный путь, которым пришла, и все время ее угнетало, почти мучило то, что она не выполнила своего намерения. Она называла себя мысленно взбалмошной дурой и трусихой; лицо ее горело от стыда и смущения; она испытывала потребность во что бы то ни стало скрыться от людских взоров. Чтобы не встретить никого из знакомых и воротиться домой как можно скорее, она пошла не по Хай-стрит, а по узкой запущенной улице, официально носившей название Колледж-стрит, но именуемой всеми просто «Канавой». Она ответвлялась от большой проезжей дороги в том месте, где та делала изгиб в сторону, и проходила под железной дорогой прямо к городскому парку. С поникшей головой Мэри нырнула во мрак «Канавы», словно желая в нем укрыться, и торопливо зашагала по этой неприятной и пользующейся дурной славой улице, с неровной мостовой, с канавами, где валялись битые бутылки, пустые жестянки из-под консервов и всякие отвратительные отбросы нищего квартала. Только стремление избежать встреч со знакомыми могло привести Мэри на эту улицу, куда, в силу молчаливого запрета, никогда не ступала ее нога. И даже сейчас, во время этого поспешного бегства, жуткая нищета улицы, казалось, успела коснуться ее своей грязной рукой.

Женщины глазели на нее из открытых дворов, где они праздно болтали, собираясь кучками, неряшливые, с обнаженными до плеч руками. Какая-то дворняжка бросилась ей вслед с лаем, хватая ее за пятки; грязный уродливый калека, разлегшийся на мостовой, громко просил милостыню, и его хнычущий, назойливый голос оскорбительно преследовал ее.

Мэри пошла еще быстрее, спасаясь от гнетущих картин вокруг, и уже прошла почти всю улицу, когда заметила впереди толпу, быстро двигавшуюся ей навстречу. На один трагический миг она застыла на месте, вообразив, что на нее хотят напасть. Но тотчас же до ее ушей долетели звуки оркестра, и она увидела, что эта толпа, сопровождаемая свитой оборванных детей и паршивых собак и двигавшаяся на нее, подобно полку, идущему в бой, была просто местным отрядом Армии спасения, недавно организованным в Ливенфорде. Ее верные сторонники в наплыве юношеского энтузиазма воспользовались праздничным днем, чтобы уже с раннего утра устроить шествие по самым подозрительным кварталам города для пресечения всякой распущенности и порока, которым люди могут дать волю по случаю открытия выставки.

Они подходили все ближе. Бились на ветру знамена, лаяли собаки, гремели литавры, оркестр ревел гимн «Сойдем со стези порока», а солдаты Армии спасения (обоего пола) с дружным рвением сливали свои голоса в громкий хор. Они подошли совсем близко, и Мэри прижалась к стене, готовая пожелать, чтобы мостовая разверзлась под ее ногами и поглотила ее. Когда толпа хлынула мимо, она вся съежилась, ощущая, как волны чужих тел грубо бьются о ее собственное. Внезапно одна из женщин – солдат этой армии, полная благочестивого пыла и радости, которую доставляла ей новая форма, увидела испуганную Мэри, на минуту перестала петь пронзительным сопрано и, приблизив свое лицо к лицу Мэри, сказала проникновенным шепотом:

– Сестра, ты грешница? Тогда иди к нам и спасешься. Приди и омойся в крови Агнца!

И сразу же, перейдя от шепота к громкому пению, она подхватила припев гимна «Кто гибнет сегодня» и, победно шествуя по мостовой, скрылась из виду.

Чувство невыразимого унижения охватило Мэри, все еще прижимавшуюся к стене. Ее впечатлительной натуре эта новая неприятность представлялась последним знамением Божьего гнева.

За последние часы внезапный, неожиданный переход ее мыслей в темное и новое для них русло изменил и весь строй ее внутренней жизни. Она не могла бы назвать чувство, которое ею владело, она не могла бы выразить в словах и даже понять тот ужас, который наполнял ее

сердце, но когда она, спотыкаясь, брела домой, то в тоске самобичевания твердила себе, что недостойна жить.

VII

В понедельник после выставки в доме Броуди царило сильное волнение. В это утро стук почтальона прозвучал громче обычного, а мина его была преисполнена важности, когда он вручил миссис Броуди письмо, пестревшее рядом иностранных марок, тонкий, продолговатый конверт, таинственно хрустевший в ее дрожащих от волнения пальцах. Мама с бьющимся сердцем смотрела на это письмо, которое ожидала столько дней. Ей не пришлось гадать, от кого оно, так как она тотчас узнала один из тех тонких «заграничных» конвертов, которые она сама заботливо выбрала и уложила среди вещей Мэта. В это утро она была одна дома и в приливе благодарности и нетерпения прижала конверт к губам, потом крепко к груди, подержала его так некоторое время, словно давая сердцу впитать в себя содержание письма, и, снова отняв конверт, вертела его в красных, шершавых от работы руках. Хотя она знала, что письмо предназначалось исключительно для нее, но оно было адресовано «мистеру и миссис Броуди», и она не смела его распечатать, она не смела побежать наверх и радостно крикнуть мужу: «Письмо от Мэта!» Она взяла это первое драгоценное послание из-за границы и осторожно положила его на тарелку мужа. Она ожидала. Ожидала покорно, но с жадным, мучительным нетерпением, время от времени заходя из посудной на кухню, чтоб убедиться, что письмо тут, что это замечательное послание, которое чудесным образом прошло три тысячи миль по чужим морям и экзотическим странам, раньше чем благополучно дошло до нее, теперь не исчезло вдруг в пустом пространстве.

Наконец через некоторое время, показавшееся ей вечностью, Броуди сошел вниз, все еще (как она с благодарностью заметила про себя) сохраняя хорошее настроение, след весело проведенного накануне дня. Миссис Броуди немедленно принесла кашу и, осторожно поставив ее перед ним, в ожидании остановилась поодаль. Броуди взял с тарелки письмо, молча взвесил его на широкой ладони, безучастно осмотрел, снова демонстративно взвесил на руке, затем положил перед собой, не распечатав, и принялся за еду. Он ел одну ложку за другой, согнувшись над тарелкой, поставив локти обеих рук на стол, и не отрывал глаз от конверта, умышленно делая вид, что не замечает жены.

Покоряясь этому утонченному издевательству, миссис Броуди все стояла в глубине кухни, крепко сжимая руки, напрягшись вся в лихорадочном ожидании, пока наконец не выдержала.

– Распечатай же, отец, – шепнула она.

Он изобразил преувеличенно сильный испуг.

– Клянусь Богом, жена, ты меня до смерти испугала! И чего это ты тут торчишь у меня над душой? Ага, понимаю, понимаю! Тебя притягивает этот клочок бумаги.

Он указал ложкой на письмо и небрежно откинулся на спинку стула, наблюдая за женой. Он был в самом благодушном настроении и решил позабавиться.

– Точь-в-точь оса над банкой варенья! – протянул он насмешливо. – С такой же тошнотворной жадностью ты смотришь на это письмо. А оно довольно-таки тонкое, как я погляжу. Чепуха одна, а не письмо.

– Это бумага такая тонкая, я нарочно такую купила для него, чтобы меньше стоила пересылка, – уверяла мама. – Можно вложить целую дюжину таких листков в один конверт.

– Тут нет дюжины. Два, самое большее – три листика. Надеюсь, это не значит, что письмо содержит дурные вести, – сказал он с притворным сокрушением, злорадно покосившись на жену.

– Ох, открой ты, ради бога, и успокой мое сердце, отец! – умоляла она. – Ты же видишь, что я умираю от нетерпения.

Он предостерегающе поднял голову.

– Успеется, успеется, – процедил он. – Ждала десять недель, так не лопнешь, если подождешь еще десять минут. Ступай, принеси мне следующее блюдо.

Мучимая неизвестностью, мама вынуждена была со вздохом оторваться от созерцания письма и пойти в посудную, где она, выкладывая на тарелку яичницу с ветчиной, все время дрожала от страха, что муж в ее отсутствие прочтет послание Мэта и уничтожит его.

– Ого, какая прыть! – закричал Броуди, когда она торопливо воротилась в кухню. – Я не видал, чтобы ты так быстро бегала, с того дня, когда ты наелась незрелого крыжовника. Теперь я знаю, как заставить тебя двигаться проворнее. Ты, кажется, запляшешь через минуту!

Она ничего не отвечала. Он довел ее своим издевательством до немого отчаяния. Окончив завтрак, он снова взял со стола письмо.

– Ну, поглядим, пожалуй, что там внутри, – протянул он небрежно, как можно медленнее вскрывая конверт и вынимая оттуда листики, исписанные размашистым почерком. Пока он (нестерпимо долго) читал про себя письмо, мама хранила молчание, но глаза ее, полные беспокойства, не отрывались от его лица, пытаясь в выражении этого лица уловить хоть что-нибудь, что подтвердило бы ее надежды и рассеяло опасения. Наконец Джемс бросил письмо на стол и объявил: – Ничего интересного. Сплошная чепуха!

В тот же миг миссис Броуди набросилась на листки и, стремительно схватив их, поднесла к близоруким глазам и принялась жадно читать. Она тотчас по надписи сверху увидела, что письмо написано на пароходе и отправлено почти сразу по его прибытии на место.

«Дорогие родители, – читала она, – берусь за перо, чтобы написать вам после страшнейшего и бесконечного приступа mal de mer, или, проще говоря, морской болезни. Эта ужасная неприятность произошла со мной в первый раз в Ирландском море, а в Бискайском заливе мне было так худо, что я призывал смерть и готов был молить, чтобы меня бросили на съедение рыбам, если бы не мысль о вас. Каюта у меня оказалась душная и неудобная, а сосед – грубый малый с сильной склонностью к вину, так что я сперва попробовал сидеть на палубе, но волны были такие гигантские, а матросы такие безжалостные, что пришлось снова сойти вниз, в мое жаркое и неприятное убежище. В этом проклятом месте я лежал на койке, и меня швыряло самым ужасным образом, то вверх к потолку, то опять вниз. Когда я падал снова на койку, мне казалось, что желудок мой остался наверху; я ощущал внутри такую пустоту и слабость, словно лишился всех внутренностей. К тому же я ничего не мог есть, и меня все время тошнило – днем и ночью. Мой сосед, занимавший нижнюю койку, ужасно ругался в первую ночь, когда я заболел, и заставил меня встать в одной ночной сорочке в холодной, ходившей ходуном каюте и перемениться с ним местами. Единственное, что поддержало меня и не дало моей бедной душе расстаться с телом, было укрепляющее питье, которое один из лакеев любезно принес мне. Он назвал его „стинго“[3], и, должен сознаться, оно мне понравилось, оно оказалось верным средством, которое сохранило мне жизнь. Но в общем все было ужасно, можете мне поверить.

Однако буду продолжать рассказ. К тому времени, как мы прошли Гибралтар (который представляет собой просто голый однобокий утес, гораздо выше, чем ливенфордский, но зато не такой красивый) и зашли уже далеко в Средиземное море, я опять встал на ноги и избавился от морской болезни. Море там такое голубое, какого я в жизни не видал, – передайте Несси, что оно даже голубее, чем ее глаза, – и я мог любоваться им и чудными красками закатов, так как, на мое счастье, совсем не было качки! Правда, мне все еще кусок не шел в горло, но в Порт-Саиде мы сделали запасы фруктов, и я получил возможность есть свежие финики и замечательные апельсины: они очень сладкие, и кожура снимается так же легко, как у мандаринов, но они гораздо больше. Ел я и плод, который называется „папайя“, сочный, как дыня,

[3] *Стинго* – крепкое пиво.

но с зеленой кожурой и красноватой мякотью. У него очень освежающий вкус. Я полагаю, что эти фрукты мне помогли, даже уверен, что они мне были очень полезны.

Я не сходил на берег, так как меня предупредили, что Порт-Саид – место очень развратное и, кроме того, опасное для европейцев, если при них нет оружия. Один господин на нашем пароходе рассказал мне длинную историю о своих приключениях в языческом храме и других местах Порт-Саида, но я не буду вам повторять его рассказ, потому что он неприличен, и, кроме того, я не уверен, что это правда. Но, по-видимому, здесь происходят поразительные вещи. Кстати, передайте Агнес, что я ей верен. Да, забыл сказать, что в Порт-Саиде к пароходу подъезжают туземцы на лодках и продают очень хороший рахат-лукум; это – превкусное лакомство, несмотря на его странное название.

Мы очень медленно проходили Суэцкий канал; это – узкая канава, с обеих сторон которой на много миль тянется песчаная пустыня, а вдали видны пурпуровые горы. Канал этот ничего особенного собой не представляет и пересекает водные пространства, которые называются Горькие озера, они очень скучные на вид, но говорят, что они имеют важное значение. Иногда мы видели на берегу мужчин в белых плащах, верхом не на верблюдах, как вы там, может быть, воображаете, а на быстрых лошадях, на которых они галопом скакали прочь, как только замечали пароход. Да, должен вам сказать, что в первый раз в жизни я видел, как растут пальмы – совсем такие, как та, что стоит у нас в церковном зале, но гораздо выше и толще. В Красном море было очень жарко, а после того, как мы благополучно миновали Аден и какие-то любопытные острова, которые называются Двенадцать Апостолов, как раз тогда, когда я рассчитывал повеселиться в обществе дам на палубе, принять участие в играх, беседах и занятиях музыкой, вдруг снова наступила ужаснейшая жара. Мама, тиковые костюмы, что ты мне купила, никуда не годятся, они слишком плотные и тяжелые. Правильнее было бы заказать в Индии туземному портному. Говорят, туземцы шьют их очень хорошо и из подходящего материала – индийского шелка, а не тика. Кстати, раз уж об этом зашла речь, передайте, пожалуйста, Мэри, что стеклянная часть фляжки, которую она мне подарила, разбилась во время первого же шторма, а показания компаса Несси расходятся с показаниями судового компаса.

Я порядком страдал от жары и хотя стал лучше есть (я очень полюбил сою), но потерял в весе. То, что я очень похудел, меня смущало и так же, как недостаток энергии, мешало принять участие в общих развлечениях, так что я сидел один, думая о моей лежавшей без употребления мандолине и с огорчением глядя на дам, а также на акул, которые целыми стаями плыли за пароходом.

После жары начались дожди – это здесь называется муссон, „нота (малый) муссон“, но с меня было достаточно и этого „малого“ муссона – он напоминает наши вечные промозглые шотландские туманы. Мы шли в тумане, пока не добрались до Цейлона и не бросили якорь в Коломбо. Это замечательный порт! На много миль вокруг вода неподвижна. Очень успокаивающее зрелище! Зато очень большая качка была в Индийском океане. Некоторые пассажиры отправились на берег покупать драгоценные камни – лунные камни, опалы, бирюзу, – а я не поехал, потому что слыхал, что цены просто грабительские и что лунные камни имеют здесь много изъянов, то есть трещинок. Зато мой приятель-лакей принес мне прекрасный местный ананас. Несмотря на то что он был очень крупный, я, к своему удивлению, убедился, что могу съесть его весь. Удивительно вкусно! На следующий день меня немного слабило, и я думал, что у меня дизентерия, но, к счастью, меня пока миновала и дизентерия, и малярия. А нездоров я был, должно быть, из-за ананаса.

Но самое неприятное было еще впереди. В Индийском океане мы перенесли тайфун, наихудший вид страшного шторма, какой вы только можете себе вообразить. Началось все с того, что небо стало пурпурового цвета, потом темно-желтое, как медь. Я сначала было залюбовался им, но вдруг всем пассажирам приказано было сойти вниз, и я счел это дурным знаком, потому что ветер так сразу и обрушился на судно, как удар. Одному человеку, стоявшему у

своей каюты, прищемило руку внезапно захлопнувшейся дверью и начисто оторвало большой палец. А один из матросов сломал ногу. Ужас что было!

Меня не укачало, но должен признаться, что я чуть не испугался. Море вздымалось не так, как волны в Бискайском заливе, а очень высоко, целыми водяными горами. Мне скоро пришлось перестать смотреть в иллюминатор. Судно так кряхтело, а мачты скрипели, что я думал – оно непременно разлетится в щепки. Качало ужасно; и два раза судно ложилось на бок и лежало так долго, что я уже не надеялся остаться в живых. Но Провидение сжалилось над нами, и мы в конце концов достигли дельты Ганга; там большие песчаные отмели и очень грязная вода. Нам дали лоцмана, чтобы провести судно вверх от устья Хугли, и мы плыли по этой реке так медленно, что это заняло несколько дней. На берегах Ганга мы видели много полей, орошаемых каналами. Я видел кокосовые пальмы и бананы, которые растут на деревьях. Туземцы здесь, конечно, чернокожие, и, по-видимому, у них принято работать голыми, в одних только повязках вокруг бедер, а у некоторых на голове чалма. Они работают на своих полях, сидя на корточках, а некоторые ловят рыбу сетями в желтой воде реки, и, говорят, рыба здесь хорошая. Белые носят шлемы от солнца. Твой подарок, папа, очень кстати.

Теперь мне пора кончать. Я это письмо писал урывками, а сейчас мы вошли в гавань. Сильное впечатление производят этот большой порт и доки. А небо все утыкано минаретами и верхушками домов.

Я ежедневно читаю отрывок из Библии. Чувствую себя недурно. Думаю, что здесь мне будет хорошо.

Целую всех и остаюсь ваш почтительный сын

Мэт».

Мама восторженно всхлипнула, отирая слезы, казалось лившиеся прямо из переполненного до краев сердца. Все ее хрупкое существо захлестнула волна радости и благодарности. Все в ней пело: «Что за письмо! Что за сын!» Новость казалась ей слишком потрясающей, чтобы хранить ее про себя, и ее охватило бурное желание помчаться на улицу, обежать весь город, размахивая этим письмом, выкрикивая для общего сведения славную хронику этого великого путешествия.

Броуди читал ее мысли своим пытливым и насмешливым взглядом.

– Найми глашатая и пошли его объявить новость по всему городу, – бросил он колко. – Выболтай все каждому! Эх ты! Подождала бы, пока получишь не первое, а двадцать первое письмо! Он пока еще ничего не сделал, только ел фрукты да слюни распускал.

Грудь миссис Броуди заходила от негодования.

– Бедный мальчик столько выстрадал! – воскликнула она с дрожью в голосе. – Такая болезнь! Нечего корить его за фрукты, он их всегда любил.

Только обида, нанесенная сыну, могла заставить ее возразить мужу.

Броуди иронически посмотрел на нее:

– А ты, оказывается, надавала ему с собой всякой ерунды! Мой шлем – единственная полезная вещь, которую Мэт получил! – прибавил он, вставая из-за стола.

– Я сегодня же поговорю с этим приказчиком у Линни! – воскликнула мама прерывающимся голосом. – Он меня уверил, что там все носят тик. Так обмануть! Мой сын из-за него мог умереть от солнечного удара!

– Ты всегда и во всем непременно напутаешь, старуха, – благодушно кольнул ее муж напоследок. Но теперь его стрелы не ранили; они и не попали в нее, потому что она находилась сейчас в той далекой стране, где высокие пальмы кивали величавыми вершинами в опаловом небе и мягкий звон вылетал из храмов в благоуханный мрак улиц.

Наконец она очнулась от своих грез.

– Мэри! – крикнула она в комнату рядом. – Возьми письмо Мэта! Прочти и, когда кончишь, снеси его бабушке. – И рассеянно добавила: – Потом отдашь его обратно мне.

Она тотчас же вернулась к своим приятным размышлениям, решив, что днем отошлет драгоценное послание Агнес Мойр. Мэри отнесет его вместе с банкой домашнего варенья и пирогом. Может быть, и Агнес получила письмо? Нет, вряд ли, – подумала самодовольно миссис Броуди. Во всяком случае, Агнес будет страшно рада получить сведения о героическом путешествии Мэта и счастливую весть о прибытии его на место. Мама прекрасно понимала, что приличие требует сразу же послать Агнес письмо Мэта, а дары – пирог и варенье – еще подсластят ей этот лакомый кусочек. Агнес – славная, достойная девушка, она ей всегда нравилась.

Когда Мэри воротилась, мать спросила:

– Ну, что же бабушка сказала о его письме?

– Да что-то вроде того, что ей бы очень хотелось попробовать такой ананас, – равнодушно уронила Мэри.

Мама бережно отобрала у дочери священное письмо.

– Скажите пожалуйста! – возмутилась она. – И это в то время, когда бедный мальчик чуть не утонул и мог быть съеден акулами! И ты тоже могла бы проявить немного больше интереса к судьбе брата, когда он в такой опасности! Все утро бродишь, как неживая… Да ты слышишь ли и сейчас, что я тебе говорю? Я хочу, чтобы ты сегодня днем сбегала к Агнес и отнесла ей это письмо. И еще я дам тебе сверток для нее.

– Хорошо, – сказала Мэри. – А к какому времени мне вернуться?

– Можешь побыть у Агнес и поболтать с ней, если хочешь. Если она тебя пригласит выпить чаю, я разрешаю тебе остаться. Общество такой хорошей христианки тебе вреда не принесет.

Мэри не сказала ничего, но в ее безучастном лице и движениях появилась некоторая живость. Безумно смелый план, неопределенно возникший в ее голове предыдущей бессонной ночью, при этом неожиданно представившемся ей удобном случае начал принимать конкретную форму.

Она задумала ехать в Дэррок. Это было трудное и рискованное предприятие, грозившее серьезными последствиями – открытием ее тайны и страшной катастрофой. Но если уж решиться на такой неслыханный поступок, то вовремя подоспевшее поручение матери было ей, несомненно, на руку. Мэри знала, что в два часа из Ливенфорда отправляется в Дэррок поезд, который проходит расстояние между этими двумя городами – четыре мили – в пятнадцать минут и идет обратно из Дэррока в Ливенфорд в четыре часа дня. Если она рискнет отправиться в эту экспедицию, то в Дэрроке у нее будет в распоряжении полтора часа, чтобы сделать то, что она задумала, а этого, по ее мнению, было достаточно. Ее заботил только вопрос, успеет ли она до двух часов выполнить поручение матери, а главное – удастся ли ей вовремя избавиться от тягостного и навязчивого гостеприимства Агнес и поспеть на поезд.

Помня, что ей надо уйти пораньше, чтоб выиграть время, Мэри все утро работала так усердно, что покончила со своими хозяйственными обязанностями еще до часу, и, наскоро поев, побежала наверх одеваться. Но когда она поднялась по лестнице к себе в комнату, странное ощущение овладело ею: ей вдруг показалось, что тело ее стало необычайно легким – легким, как воздух, голова закружилась; пол спальни тихонько качался вверх и вниз перед ее помутившимися от испуга глазами, медленно и непрерывно, как маятник, стены тоже шатались, падали на нее, как стены рассыпающегося карточного домика; перед глазами плясали огненные параболы, мгновенно сменяясь мраком. Ноги под ней подломились, и она без единого звука упала в обмороке на пол. Долго лежала она так ничком, без сознания. Потом постепенно это положение тела вызвало снова слабое кровообращение; под мертвенно-бледной

кожей, казалось, заструились едва-едва ощутимые потоки крови, и Мэри со вздохом открыла глаза.

Взгляд ее прежде всего упал на стрелки часов, показывавшие половину второго. Встревоженная, она поднялась на локте, и после нескольких тщетных попыток ей в конце концов все же удалось встать. Она ощущала слабость, с трудом держалась на ногах, но голова была ясна, и вялыми, неловкими руками, которые совсем ее не слушались, она через силу торопливо оделась. Потом поспешно спустилась вниз.

У матери уже было наготове и письмо, и сверток, и куча поручений, приветствий и инструкций для передачи Агнес. Она настолько была поглощена собственной великодушной щедростью, что не заметила состояния дочери.

– И не забудь ей сказать, что это варенье свежей варки, – крикнула она вдогонку Мэри, вышедшей уже за ворота, – и что в пироге два яйца! А письма не оставляй. Скажи, что я велела принести его обратно! – добавила она в заключение.

У Мэри оставалось двадцать минут на то, чтобы дойти до станции, – этого времени было едва-едва достаточно.

Тяжелый сверток, в котором было два фунта варенья, оттягивал ей плечо. Представление о жирном пироге вызывало тошноту, а сладкое варенье навязчиво липло к ее воображению. У нее не оставалось времени отнести сверток Агнес, а таскать его весь день с собой было явно невозможно. Она уже решилась сегодня на один отчаянный поступок, и теперь что-то толкало ее на дальнейшие безрассудства. Какой-то голос нашептывал ей, что можно избавиться от щедрого дара матери, уронив его потихоньку в канаву или швырнув в какой-нибудь сад по дороге. Тяжелый сверток мучил ее, а отвращение, вызываемое мыслью о его содержимом, вдруг придало ей смелости. На тротуаре стоял мальчуган, босой, грязный и оборванный, с безутешным видом рисовавший что-то мелом на кирпичной стене. Проходя мимо, Мэри, повинуясь внезапному побуждению, бросила узел в руки остолбеневшему от изумления мальчишке. Она чувствовала, что губы ее шевелятся, услышала свой голос, произнесший:

– На, возьми! Живее! Тут съестное!

Мальчуган вскинул на нее удивленные, недоверчивые глаза, лучше всяких слов говорившие, что ему глубоко подозрительны чужие люди, которые под видом филантропии хотят всучить ему какие-то тяжелые пакеты. Одним глазом все так же недоверчиво косясь на Мэри, он надорвал бумагу сверху, чтобы удостовериться, что его не обманывают, и когда его пораженному взору предстало богатейшее содержимое свертка, он зажал его под мышкой и, развив бешеную скорость из боязни, что странная леди опомнится от своего безумия, бросился бежать и исчез вдали, как дым.

Мэри вдруг смутило собственное безрассудство. Ее пронизал внезапный страх, что ей не скрыть от матери своей непростительной выходки, а когда все откроется, как же она объяснит то, что бросила на ветер плоды честного труда матери? Напрасно она утешала себя, что доставит Агнес письмо, когда вернется, после четырех: на лице ее читалось смятение все время, пока она поспешно шла на станцию. В поезде она, сделав над собой громадное усилие, сосредоточила утомленное внимание на плане, который ей предстояло осуществить, мысленно намечая все, что необходимо сделать. Она твердо решила не проявлять больше такой слабости и нерешительности, как накануне. Дэррок был ей достаточно знаком, она несколько раз бывала там до того, как это место приобрело в ее глазах волшебный, романтический ореол, потому что там жил Денис. Теперь этот скучный городок, где сосредоточены были главным образом заводы химических и красящих веществ, загрязнившие своими отбросами чистые воды Ливена, магически преобразился в воображении Мэри. Плохо мощенные узкие улицы казались шире оттого, что по ним ходил Денис, а закоптелые здания – красивыми оттого, что где-то здесь, среди них, протекала его жизнь.

Когда поезд стал медленно приближаться к этому волшебному городу, Мэри, несмотря на гнетущую тревогу, почувствовала, что задыхается от радостного нетерпения. Она ехала не затем, чтобы увидеть Дениса, но она не могла подавить невольного трепета при мысли, что будет близко от него, в его родном городе.

Когда поезд, выпуская клубы пара, подкатил к дэрроккому вокзалу, она быстро вышла из вагона, сдала свой билет и первая из горсточки приехавших пассажиров ушла с перрона. Не останавливаясь, так быстро, как только позволяли ей силы, прошла она главную улицу, круто сворачивавшую налево, и очутилась в более тихом, жилом квартале. Никто из людей, которые попадались ей навстречу, не знал ее; ее внешний вид не привлекал ничьего внимания, не возбуждал любопытства. Дэррок, хотя здесь и отсутствовала атмосфера центральных городов графства, занимал не меньшую территорию, чем Ливенфорд, был единственным, кроме Ливенфорда, большим городом на двенадцать миль в окружности, и Мэри нетрудно было проскользнуть незамеченной по оживленным улицам, затеряться среди наводнявшей их толпы. Потому-то она и выбрала Дэррок для осуществления своего плана.

Пройдя наполовину и вторую улицу, она, к своему облегчению, убедилась, что память ей не изменила, и, очутившись перед полукругом домов с террасами, решительно подошла к крайнему из них и сильно дернула звонок. Дверь отперла миниатюрная служанка в синем бумажном халате.

– Доктор дома? – спросила Мэри.

– Да, пожалуйста, войдите, – отвечала маленькая служанка с безучастным видом человека, который устал повторять вечно одно и то же.

Она ввела Мэри в приемную. Это была бедно обставленная комната со скучными обоями и вытертым реденьким ковром на полу, с расставленными в строгом порядке стульями различной степени дряхлости и большим дубовым столом, на котором лежало несколько старых истрепанных журналов с загнутыми углами и стоял красный фаянсовый горшок, в котором томился папоротник.

– Ваша фамилия? – апатично осведомилась несчастная рабыня двери.

– Мисс Винифред Браун, – без запинки отвечала Мэри.

Да, теперь она убедилась, что она настоящая лгунья! Ей следовало сейчас быть в Ливенфорде, сидеть в приятной беседе с невестой брата, а она, выбросив доверенный матерью сверток, очутилась за четыре мили от Ливенфорда, назвалась чужим именем и ожидает в доме незнакомого врача, чье имя и адрес она, по счастливой случайности, запомнила. Слабая краска, выступившая на ее щеках, когда она назвала ложное имя, теперь запылала ярче от этих мыслей, и ей стоило больших усилий отделаться от чувства вины, когда ее ввели в кабинет доктора.

Доктор, человек средних лет, лысый, неряшливо одетый, имел разочарованный вид врача с посредственной и дешевой практикой. То не был обычный час приема, но материальное положение вынуждало доктора принимать пациентов в любое время. Он был холост. Его экономка только что накормила его обедом из жирной вареной говядины с пудингом из почек. Он съел его второпях, и хронический катар желудка, которым он страдал из-за дурно приготовленной пищи, несоблюдения режима, испорченных зубов, уже давал себя знать грызущей болью внутри. Он с недоумением посмотрел на Мэри.

– Вы – на прием? – спросил он.

– Я пришла с вами посоветоваться, – отвечала она голосом, казалось шедшим издалека, который сама не узнала.

– В таком случае присядьте, – сказал отрывисто доктор. Он сразу почуял тут что-то необычное, и его раздражение усилилось. Он давно утратил интерес к клинической стороне своей практики, и всякое отклонение от надоедливой, но привычной рутины – быстрого выдавания пациентам склянок с разбавленным раствором дешевых лекарств и разных окрашивающих примесей – всегда приводило его в замешательство. К тому же сейчас ему не терпелось

поскорее вернуться к своей кушетке и лечь: судорожная боль терзала его внутренности, и он вспомнил, что сегодня ему предстоит еще утомительный вечерний прием.

– В чем дело? – спросил он отрывисто.

Запинаясь, Мэри стала объяснять, краснела, нерешительно умолкала, снова начинала, говорила как во сне. Она не помнила, в каких выражениях рассказала все, но, видимо, доктор утвердился в своих подозрениях.

– Я должен вас осмотреть, – объявил он сухо. – Хотите сейчас или вы придете с… с матерью?

Не совсем понимая его слова, Мэри не знала, что ответить. Официальный тон доктора смутил ее, от его равнодушного лица веяло холодом, и весь его неопрятный вид, растрепанные усы, грязные ногти, жирные пятна на жилете внушали ей сильнейшее отвращение. Но она твердила себе, что надо пройти через это испытание. Она сказала тихо:

– Я не могу прийти еще раз, доктор.

– Тогда разденьтесь и приготовьтесь, – бросил он грубовато, указывая на кушетку, и вышел из комнаты.

Неловкая от робости, она едва успела расстегнуть все на себе и лечь на рваную, обтрепанную кушетку, как доктор вернулся. Закрыв глаза и стиснув зубы, она вытерпела неумелый и мучительный осмотр. Это было для нее физической и душевной пыткой. Его грубые прикосновения заставляли содрогаться целомудренное тело, его неловкие пальцы причиняли боль. Наконец это кончилось, и, сказав несколько отрывистых слов, доктор вышел.

Через пять минут Мэри снова сидела одетая на том же стуле, безмолвно глядя на доктора, который, тяжело ступая, подошел к своему столу.

Доктор был в некотором затруднении. Ему часто приходилось сталкиваться с такого рода драмами, но то были женщины другого сорта, здесь же он, при все своей закаленности и душевном отупении, почувствовал, что перед ним просто запуганный ребенок, невинный, ничего не ведающий! Он догадывался, что ее беременность – результат невольного и бессознательного падения. Он понял, почему она назвалась другим именем, и в его опустошенном, очерствевшем сердце шевельнулась смутная жалость. С подозрительностью незадачливого врача, ревниво оберегающего свою репутацию, он сначала предположил, что эта девочка ждет от него применения некоторых средств, которые прекратят ее беременность. Но сейчас ему стало ясно, насколько велико ее неведение. Он беспокойно задвигался в кресле, не зная, с чего начать.

– Вы не замужем? – спросил он наконец, понизив голос.

Она отрицательно покачала головой. Глаза у нее были испуганные, в них стояли слезы.

– Тогда советую вам выйти замуж. У вас скоро будет ребенок.

В первую минуту Мэри как будто не поняла. Потом губы ее судорожно покривились и задрожали, из глаз беззвучно закапали слезы. Она была ошеломлена, слова доктора ударили ее как обухом по голове. Он что-то говорил еще, старался объяснить, что ей следует делать, что ее ожидает, но она вряд ли его слышала. Доктор отодвинулся куда-то назад, все вдруг исчезло из ее глаз; она погрузилась в серую мглу огромного, невыразимого отчаяния, осталась одна, лицом к лицу с безумным страхом перед неизбежной катастрофой. Временами до ее сознания доходили отдельные обрывки фраз доктора, подобно тому, как скудные отблески дневного света вдруг пробиваются сквозь клубящиеся облака тумана.

– Старайтесь не волноваться, – говорил доктор.

Потом снова, сквозь окутывавший ее туман, долетели слова: «Вы молоды, перед вами вся жизнь!»

Что он знает о ней, да и что ему за дело до нее? Все доброжелательные избитые фразы, которые он говорил, ничуть ее не трогали, не доходили до сердца. Она инстинктивно чувствовала, что для этого доктора она – только случайный и нежелательный инцидент в его однообразном существовании, и когда она поднялась и спросила, сколько следует уплатить, она тотчас

же прочла в его взгляде почти нескрываемое облегчение. Чутье не обмануло Мэри: получив свой гонорар и выпроводив ее за дверь, доктор тотчас же схватился за бутылку с висмутом, проглотил большую дозу, со вздохом облегчения лег и сразу же совершенно забыл о ней.

Было ровно три часа, когда она вышла от доктора. Если ехать домой – оставался час до отхода поезда; терзаемая душевной пыткой, она шла по улице и шептала про себя: «Боже, Боже, за что Ты так меня наказал! Я ничем Тебя не прогневала. Сделай же, чтобы *этого* не случилось. Сделай!» Она по-прежнему совершенно не понимала, почему и каким образом ее тело было избрано Всевышним для такого непристойного эксперимента. Ее это поражало как в высшей степени несправедливое проявление всемогущества Господня. Как это ни странно, Дениса она ни в чем не винила. Она просто считала себя жертвой какого-то ужасного, непостижимого обмана.

Нет, она не сердилась на Дениса; напротив, она чувствовала, что он – ее единственное прибежище. Тревога и жажда утешения были так остры, что она отбросила всякую осторожность. И, в порыве душевного напряжения, выражавшегося на ее лице, пошла по главной улице, на дальнем конце которой находился погребок под вывеской «Вино и водка. Оуэн Фойль». За углом широкие двойные ворота вели во двор, а со двора, по винтовой лестнице без перил, был вход в жилище Фойля.

Мэри взобралась по этой лестнице и тихонько постучала в дверь. Из квартиры слышались жидкие звуки фортепиано. Бренчанье продолжалось, никто не шел отпирать. Затем чей-то голос крикнул:

– Рози, милочка, стучат как будто. Погляди, нет ли там кого!

Второй голос, с детскими нотками, отозвался:

– Я играю гаммы. Посмотри сама, мама, или подожди, пока постучат еще.

И игра на пианино возобновилась с удвоенной энергией, играли громко, как будто стремясь показать свои старания.

После минутной нерешительности Мэри хотела было уже постучать сильнее, но вдруг, когда она подняла руку, со двора раздался пронзительный свист, который постепенно приближался.

Она обернулась, и в то же мгновение внизу, у лестницы, появился Денис, который, увидев ее, вопросительно откинул голову и от изумления широко раскрыл глаза. Сразу заметив, что Мэри сильно чем-то расстроена, он взбежал наверх.

– Мэри! – воскликнул он торопливо. – Что случилось?

Она не в силах была ответить, она могла только прошептать его имя.

– Кто тебя обидел, Мэри, родная? – бормотал Денис, подойдя к ней совсем близко, взяв ее холодную руку в свои и нежно поглаживая. – Отец?

Она покачала головой, не глядя на него, зная, что если взглянет, то позорно расплачется.

– Уйдем отсюда, – шепнула она. – Уйдем, пока никто не вышел.

Удрученный Денис медленно последовал за нею вниз.

На улице он спросил свирепо:

– Тебя обидели дома? Скажи же скорее, в чем дело, дорогая. Если кто посмел тебя тронуть, я убью его.

Наступило молчание, потом Мэри сказала медленно, невнятно, с мучительным усилием, и каждое слово падало с ее губ, как свинцовый груз:

– У меня будет ребенок!

Лицо Дениса побелело, как у человека, которому нанесли страшную рану, и бледнело все сильнее и сильнее, словно жизненные силы уходили из его тела. Он выпустил руку Мэри и смотрел на нее широко раскрытыми, испуганными глазами.

– Ты уверена? – спросил он наконец отрывисто.

– Уверена.

– Откуда ты знаешь?

– Со мной стало делаться что-то неладное. Я пошла к доктору, и он мне сказал…

– До… доктор?! Значит… наверное?

– Наверное, – повторила она глухо.

Итак, это было неотвратимо. Одной фразой она взвалила ему на плечи бремя несчастья и ответственности, которое превратило этого только что весело свиставшего мальчишку в зрелого, мучимого заботой мужчину. Их любовь оказалась западней, шаловливо-нежные ласки и тайные встречи – попросту силками, которые его заманили и запутали в эту печальную историю. Радужные надежды на брак с Мэри, все те увлекательные приготовления, что он рисовал себе, теперь показались ему цепями, которыми судьба сковала его и влечет насильно к выполнению долга. Тяжкий вздох вырвался у него. В той мужской компании, в которой он вращался, считалось, что нет ничего унизительнее для мужчины и ничего смешнее, чем такой брак по необходимости. Он утратит свой престиж, его будут высмеивать на всех углах, его имя станет мишенью злословия. Положение казалось ему до того нестерпимым, что в нем заговорило желание сбежать, мелькнула мысль о Канаде, Австралии, Америке. Он часто подумывал о том, чтобы уехать в чужие страны, и никогда еще так не соблазняли его возможности, ожидающие человека молодого и свободного в этих новых местах. Вдруг у него мелькнула одна мысль.

– А сказал тебе доктор, когда ты должна… – Он запнулся, не решаясь договорить.

Но теперь Мэри уже понимала, о чем он спрашивает.

– Он сказал, что в феврале, – ответила она, отвернувшись.

Итак, через пять месяцев он будет отцом ее ребенка! В ту дивную ночь, что они провели вместе у реки, был зачат ребенок – ребенок, у которого не будет имени, если он, Денис, не женится немедленно на Мэри. Снова с неприятной назойливостью встала перед ним необходимость жениться. Он не знал, сколько времени еще беременность Мэри может оставаться незамеченной. Ему, правда, приходилось слышать в кругу своих приятелей рассказы о том, что крестьянские девушки, работавшие в поле, скрывали свою беременность до самых родов, но он сомневался, чтобы у Мэри надолго хватило нужных для этого стойкости и сил. А между тем скрывать пока необходимо. Он еще не имеет возможности дать ей приют. Ей придется подождать. Пока еще ничего не заметно. Он внимательно посмотрел на нее, поникшую под бременем отчаяния, неизмеримо более тяжелого, чем то, которое переживал он, и в первый раз подумал о ней, а не о себе.

Сказав все, Мэри беспомощно и покорно ожидала, чтобы Денис посоветовал ей, что делать, и всей своей позой безмолвно взывала к нему. Денис сделал громадное усилие снова овладеть собой, но, когда он заговорил, его слова звучали жестко и неубедительно для него самого.

– Да, попали мы с тобой в небольшую переделку, Мэри, но это уладится. Нужно будет все обсудить.

– Что же, мне ехать обратно домой, в Ливенфорд? – спросила она тихо.

Он подумал с минуту, прежде чем ответить.

– Да, пожалуй, это будет самое лучшее. Ты приехала по железной дороге?

– Да, если ехать обратно, так мне надо быть на вокзале в четыре.

Денис вынул часы: было половина четвертого. Он и Мэри успели обменяться лишь несколькими словами, а между тем они стояли тут, на улице, вот уже полчаса.

– Да, ждать следующего тебе нельзя, это выйдет слишком поздно, – согласился он.

Вдруг его осенила мысль, что в это время зал ожидания на вокзале бывает обычно пуст. Можно побыть там до отхода поезда. Он взял руку Мэри и продел ее в свою. При этом проявлении нежности с его стороны, первом с той минуты, как она сообщила ему ужасную весть, Мэри жалобно взглянула на него, и ее осунувшееся лицо осветила слабая улыбка.

– У меня никого нет, кроме тебя, Денис, – сказала она шепотом, когда они вдвоем двинулись в путь.

К несчастью, комната ожидания оказалась полна публики; какая-то старуха, несколько работников с фермы и два красильщика с ситценабивной фабрики сидели и глазели то друг на друга, то на стены. Здесь невозможно было разговаривать, и Денис повел Мэри в самый конец платформы. За то короткое время, пока они шли на станцию, к нему вернулось самообладание, а близость мягкой руки девушки напоминала о ее красоте, об упоительной прелести ее юного тела. И Денис заставил себя улыбнуться.

– Беда, в конце концов, не так уж велика, Мэри, пока мы верны друг другу.

– Если бы ты теперь меня бросил, Денис, я бы утопилась в Ливене. Или как-нибудь иначе покончила с собой.

Глаза их встретились, и Денис увидел, что каждое из этих жутких слов, только что ею произнесенных, глубоко искренне; он снова нежно прижал к себе ее руку. Он спрашивал себя, как он мог хотя бы на один миг подумать о том, чтобы бросить эту милую беззащитную девочку, которая, если бы не он, была бы и сейчас нетронутой, а благодаря ему скоро будет матерью. И как горячо она его любит! Ему доставляла острую радость ее полная зависимость от него, ее покорность его воле. Он уже начинал оправляться от первого жестокого потрясения и рассуждать логично, как всегда.

– Ты все предоставишь мне, – объявил он.

– Все, – как эхо, откликнулась Мэри.

– Затем ты должна вернуться домой, родная, и постарайся вести себя так, как будто ничего не случилось. Я знаю, как это трудно, но ты должна мне дать как можно больше времени на то, чтобы все устроить.

– Когда нам можно будет обвенчаться?

Ей стоило невероятных усилий выговорить эти слова, но то, что она сегодня узнала, вызвало в ней такое ощущение, словно тело ее останется нечистым до тех пор, пока не будет назначен день ее свадьбы с Денисом.

Денис задумался.

– Мне предстоит важная деловая поездка в конце года, от нее очень многое зависит. Можешь ты подождать, пока я вернусь? – спросил он нерешительно. – К тому времени я мог бы все наладить, и мы бы поженились и сразу переехали в какой-нибудь маленький домик, конечно, не в Ливенфорде и не в Дэрроке, а хотя бы в Гаршейке.

Его план поселиться в маленьком домике в Гаршейке привел их обоих в хорошее настроение. И Денис и Мэри тотчас представили себе это тихое старое селение, так уютно раскинувшееся на берегу одного из рукавов лимана.

– Я могу подождать, – отвечала рассеянно Мэри, видя уже в своем воображении один из маленьких коттеджей с выбеленными стенами, каких много было в Гаршейке. Коттедж, весь увитый красными вьющимися розами, крылечко в гирляндах настурций, – это жилище, где она впервые возьмет на руки своего ребенка. Она посмотрела на Дениса и чуть не засмеялась от счастья.

– Я тебя не покину, дорогая, – говорил между тем Денис. – Но ты должна быть храброй и держаться как можно дольше.

Поезд был уже подан, и старуха, работники с фермы и оба красильщика бросились занимать места. Мэри успела только наскоро проститься с Денисом, пока он усаживал ее в вагон, но, когда поезд тронулся, Денис бежал рядом, держа ее руку до последней минуты, а когда ему пришлось наконец выпустить руку и отстать, Мэри крикнула, чтобы его ободрить:

– Я всегда помню твой девиз, Денис!

Он улыбнулся и в ответ долго махал шляпой, до тех пор, пока поезд не сделал поворот и они не потеряли друг друга из виду.

Мэри была мужественная девушка, и теперь, когда она узнала самое худшее, она готовилась всеми силами защищать свою единственную надежду на счастье. Свидание с Денисом ободрило ее. Она твердила себе, что он должен ее спасти, и спасет! И, утешенная тем, что ее тайна теперь стала их общей тайной, она чувствовала в себе силы терпеть что угодно до тех пор, пока он возьмет ее к себе навсегда. Она вся содрогнулась при воспоминании о своем визите к доктору, но тотчас решительно вычеркнула из памяти отвратительные подробности последних двух часов. Она будет храброй ради Дениса!

Приехав в Ливенфорд, она поспешила отнести письмо Агнес Мойр, и, к ее облегчению, оказалось, что Агнес ушла наверх ужинать. Она оставила для нее письмо в кондитерской, попросила также передать ей все выражения дружбы и привет миссис Броуди и ушла, радуясь, что ее ни о чем не расспрашивали.

По дороге домой она подумала, что мать, конечно, рано или поздно обнаружит ее поступок со свертком, но, занятая более серьезными заботами, она как-то совсем об этом не беспокоилась. Пускай мама бранится, плачет, причитает сколько ей угодно – через несколько месяцев она, Мэри, уйдет из дома, который стал ей ненавистен. Все ее мысли и чувства были направлены на проект Дениса, и этот проект в ее воображении был уже действительностью; отбросив мысль о своем положении, она сосредоточила все свои пылкие надежды на коттедже в Гаршейке, в котором будет жить с Денисом.

VIII

Джемс Броуди сидел у себя в конторе за лавкой, читая «Ливенфордский листок». Дверь была слегка приоткрыта, так, чтобы он мог изредка следить бдительным оком за тем, что делается в лавке, не переставая в то же время просматривать газету. Перри был болен: как сегодня утром сообщила Броуди взволнованная мамаша, его приковал к кровати жестокий чирей, который отчасти мешал ему ходить и совершенно лишил его возможности сидеть. Броуди ворчливо заметил, что приказчик нужен ему для того, чтобы стоять за прилавком, а вовсе не для того, чтобы сидеть, но после того, как его заверили, что страдальцу, несомненно, принесут облегчение непрерывные припарки и он завтра утром будет в состоянии выйти на работу, он неохотно позволил ему пропустить день. Восседая, как на троне, на стуле, который он поставил у верхней ступеньки лесенки, ведущей в его святилище, Броуди с глубоким, исключительным вниманием читал отчет о сельскохозяйственной выставке. Он был доволен, что сегодня торговля идет тихо и ему не нужно унижаться до лакейской работы продавца, которую он терпеть не мог и всецело взваливал на Перри. Несколько минут тому назад ему пришлось встать с места, чтобы принять какого-то рабочего, который неуклюже вкатился в лавку, и Броуди, негодуя, почти вытолкал этого человека, всучив ему первую попавшуюся шапку. «Какое мне дело, – рассуждал он про себя, – впору ему эта шапка или нет?» Он не желал, чтобы его беспокоили из-за такой дьявольской ерунды. Это – дело Перри. Он желал читать газету спокойно, как всякий джентльмен.

С возмущенным видом он вернулся на свое место и начал снова с первых строк отчета.

«Ежегодная городская и районная выставка скота открылась в Ливенфорде в субботу 21-го с/м и привлекла большое и блестящее общество».

Он читал весь отчет медленно, старательно, прилежно, пока в конце концов не дошел до раздела, начинающегося словами «В числе присутствующих…». Тут в глазах у него появился беспокойный блеск, потом они засверкали торжеством, когда он увидел напечатанным и свое имя. Среди громких фамилий города и графства – правда, в конце списка, но не в *самом* конце – стояло имя «Джемс Броуди»! Он с гордостью стукнул кулаком по столу. Черт возьми, теперь все убедятся, что он за человек! «Ливенфордский листок», который выходит раз в неделю по пятницам, читают все, и все увидят его имя, которое красуется здесь рядом с именем такой видной особы, как главный судья графства. Броуди распирала тщеславная радость. Ему нравилось собственное имя напечатанным. Заглавная буква имени имела своеобразную, бросавшуюся в глаза завитушку, а что касается фамилии, он гордился этой фамилией больше, чем всеми своими другими преимуществами, вместе взятыми. Не отводя глаз от этой замечательной фамилии, напечатанной в газете, он сдвинул набекрень шапку. Собственно, он прочел весь отчет, испытывая танталовы муки вследствие его многословия, только для того, чтобы убедиться, что он, Броуди, стал предметом общественного внимания благодаря этим двум напечатанным словам. Он пожирал их глазами.

«Джемс Броуди»! Его губы бессознательно складывались, чтобы воспроизвести эти слова, которые были у него на языке. «Ты – гордый человек, Броуди, – шептал он про себя. – Да, ты горд, но, клянусь Богом, тебе есть чем гордиться». У него даже в глазах помутилось от волнения, и весь перечень сиятельных особ с их титулами, чинами и отличиями исчез из поля его зрения, осталось одно-единственное имя, которое как будто неизгладимо запечатлелось на его сетчатке. Джемс Броуди! Ничего не могло быть внушительнее этих слов, простых, но полных тайного смысла.

Тут мысли его слегка отклонились в сторону, и, вспомнив, как ему сегодня пришлось унизиться в собственных глазах, обслуживая в лавке простого рабочего, он даже ноздри раздул от возмущения. Это еще было допустимо двадцать лет тому назад, когда он боролся за суще-

ствование, когда обстоятельства, над которыми человек не властен, вынудили его заняться торговлей. Но сейчас у него есть приказчик, который обязан на него работать. Такие случаи, как сегодня, по его мнению, умаляли блеск его имени, и гневное раздражение против злосчастного Перри бушевало в нем.

– Да я его в порошок сотру, этого прыщавого идиотика!

Броуди отлично понимал, что у него нет никаких задатков коммерсанта, но, раз уже пришлось заняться этим делом, он старался придать своему занятию характер, подобающий его имени и положению. Он никогда не смотрел на себя как на торговца, а с самого начала вошел в роль обедневшего дворянина, вынужденного добывать средства к жизни неподобающим для него занятием. Впрочем, ему казалось, что его личные особенности как-то облагораживают это занятие, превращают его в нечто достойное. Оно перестало быть презренным, стало чем-то не похожим на всякую другую торговлю, чем-то единственным в своем роде. Он, Броуди, с самого начала никогда не заискивал перед людьми, наоборот – им приходилось плясать под его дудку и считаться со всеми его слабостями и причудами.

В молодости он раз вышвырнул человека из своей лавки за невежливое слово; терроризируя весь город, он заставил людей считаться с ним; он не искал ничьей благосклонности, щеголял грубостью, словно говоря: «Примите меня таким, как есть, или оставьте в покое!» Эта необычная тактика имела поразительный успех. Он приобрел репутацию человека грубого, но честного и прямолинейного. Наиболее дерзкие его сентенции повторялись всеми в городе, как эпиграммы. Среди городской знати он слыл оригиналом, и своеобразие его завоевало ему покровительство этих людей. Но чем больше ему давали развернуться во всю ширь его натуры, тем больше презирал он тех, кто позволял ему над собой куражиться.

Теперь он считал себя выше требований, которые предъявляет торговля. Он испытывал огромное удовлетворение от того, что достиг видного положения, несмотря на низменность своей профессии. Так велико было его тщеславие, что он уже не видел разницы между известностью, которой достиг, и тем настоящим почетом, к которому стремился. Успех пришпоривал его.

Он хотел, чтобы имя его гремело. «Я им покажу, – бормотал он заносчиво. – Покажу им, на что я способен!»

Кто-то вошел в лавку, Броуди сердито поднял глаза от газеты. Его высокомерный взгляд, казалось, ожидал от дерзкого, посмевшего вторгнуться сюда, покорной просьбы о внимании со стороны такой особы, как он, Джемс Броуди, ровня всем знатным людям графства. Но, к его удивлению, он не услышал просьбы сойти в лавку. Какой-то молодой человек легко перепрыгнул через прилавок, взбежал по ступенькам и вошел в контору, закрыв за собой дверь. Это был Денис Фойль.

Когда Денис три дня тому назад смотрел вслед поезду, увозившему Мэри, угрызения совести вдруг обрушились на него лавиной, захватившей и поглотившей его. Он понял, что вел себя по отношению к Мэри как холодный и трусливый эгоист. Неожиданный удар по его себялюбию настолько застиг его врасплох, что он в первый момент забыл, как дорога ему Мэри. А между тем он любил ее; и теперь, когда ее не было с ним, он глубже ощущал, как она ему нужна. Тяжелое положение, в котором она очутилась, придавало ей сейчас в его глазах трогательность, вызывало волнение, с которым он раньше боролся. Если его положение было только неприятно, то положение Мэри – невыносимо, а он не нашел для облегчения его ничего лучше нескольких жалких приторных слов соболезнования! Он весь корчился внутренне, беспокоясь, что подумает Мэри о его противной трусости и ненаходчивости, а сознание, что он не может увидеться с ней и рассказать все то, что переживает сейчас, не может со всей горячностью излить перед ней свое раскаяние и любовь, приводило его в отчаяние.

Два дня Денис все сильнее и сильнее терзался этими мыслями, а на третий ему пришел в голову четкий и необычайный план действий. Этот план казался ему смелым; он видел в нем

доказательство своей энергии и отваги. В действительности же это был результат атаки совести на туго натянутые нервы; в этом плане, попросту опрометчивом, безрассудном и самонадеянном, он искал выхода подавленным чувствам, видел способ оправдать себя в собственных глазах и в глазах Мэри.

Эта-то потребность самооправдания, в сущности, и руководила им, когда он предстал перед Броуди, говоря:

– Я пришел сюда, мистер Броуди, так как боялся, что вы, пожалуй, не захотите принять меня в другом месте… Я – Денис Фойль из Дэррока.

Броуди был ошеломлен неожиданностью его появления и его дерзостью, но ничем себя не выдал. Он глубже уселся в кресло; его голова высилась на широких плечах так же прямо, как утес на вершине холма.

– Сын трактирщика? – Он пренебрежительно усмехнулся.

– Совершенно верно, – вежливо подтвердил Денис.

– Ну-с, мистер Денис Фойль, – он иронически подчеркнул слово «мистер», – что вам здесь нужно?

Броуди хотел разозлить Фойля до того, чтобы тот кинулся на него, и уже заранее предвкушал удовольствие задать ему тогда хорошую трепку.

Денис посмотрел Броуди прямо в лицо и, не обращая внимания на его тон, продолжал говорить так, как наметил себе заранее:

– Вас, может быть, удивляет мой приход, но я считаю, что должен к вам обратиться, мистер Броуди. Вот уже три месяца я не видел вашей дочери, мисс Мэри. Она теперь постоянно меня избегает. Я должен сказать вам откровенно, что люблю вашу дочь и пришел просить у вас разрешения видеться с нею.

Броуди смотрел на молодого человека, и, хотя в его неподвижном, как маска, лице нельзя было ничего прочесть, в нем нарастал прилив изумления и гнева. Пристально и хмуро глядя на Фойля, он через некоторое время медленно произнес:

– Рад слышать из ваших собственных уст, что мое приказание исполняется! Дочь моя отказалась встречаться с вами, так как я ей запретил даже глядеть в вашу сторону. Слышите? Запретил, запрещу и теперь, после того, как увидел, что вы собой представляете.

– Могу я узнать почему, мистер Броуди?

– Разве я обязан объяснять вам свои поступки? Для моей дочери достаточно, что я этого требую. Я ей объяснений не даю, я приказываю, вот и все.

– Мистер Броуди, я хотел бы знать, что вы имеете против меня. Я готов сделать все, что в моих силах, чтобы вам угодить, – сказал Фойль, пытаясь его умилостивить. – Скажите только, чего вы от меня хотите, и я это сделаю.

Броуди ответил, издеваясь:

– Я хочу, чтобы вы убрали из моей конторы свою вылощенную физиономию и никогда больше не показывали ее в Ливенфорде. И чем скорее вы это сделаете, тем больше вы мне угодите.

Фойль возразил с примирительной улыбкой:

– Так вам только моя физиономия не нравится, мистер Броуди? – Он решил во что бы то ни стало расположить к себе отца Мэри.

Броуди уже рассвирепел; его злило, что он не может заставить этого мальчишку опустить перед ним глаза, что его не удается вывести из себя. С трудом сдерживаясь, он сказал презрительно:

– Я не имею обыкновения рассуждать с такими, как вы, но, так как сейчас у меня выдалась свободная минута, я, так и быть, скажу вам, что́ мне не нравится. Мэри Броуди – леди, в ее жилах течет кровь, которой могла бы гордиться и герцогиня, она – моя дочь. А вы – из

ирландских подонков, ничтожество из ничтожеств. Ваш отец торгует дешевыми напитками, а ваши предки, я в этом не сомневаюсь, питались картофельной шелухой и ели прямо из горшка.

Денис по-прежнему, не смигнув, смотрел ему прямо в глаза, несмотря на то что от оскорблений у него все внутри кипело. Он делал отчаянные усилия казаться спокойным.

– В том, что я ирландец, нет никакого преступления, – возразил он ровным голосом. – Я не пью, капли в рот не беру. Я работаю в совершенно иной области, чем отец, и уверен, что мое занятие скоро будет давать мне хороший заработок.

– Слыхал, слыхал уже о вашем занятии, милейший. Разъезжаете по селам, потом бездельничаете целыми неделями. Знаю я вашего брата, коммивояжеров. Если вы рассчитываете разбогатеть мелочной продажей чая по всей Шотландии, так вы просто глупы, а если думаете своей дурацкой службой замазать глаза и заставить людей забыть о вашей дрянной семейке, так вы сумасшедший!

– Позвольте мне объяснить вам, мистер Броуди…

Броуди злобно взглянул на него.

– Объяснить мне! Это вы *мне* говорите, вы, ничтожный коммивояжер! Да вы знаете, с кем имеете дело? Смотрите! – заорал он, размахивая газетой и суя ее в лицо Денису. – Смотрите, если умеете читать. Вот среди каких людей я вращаюсь!.. – Он выпятил грудь и прокричал в заключение: – Допустить брак моей дочери с вами для меня так же немыслимо, как допустить, чтобы она валялась вместе со свиньями.

Фойль с большим трудом сдерживал ярость.

– Мистер Броуди, – взмолился он. – Прошу вас, выслушайте меня. Вы не можете не признать, что человек сам кует свою судьбу, независимо от того, кто его родители. Я не стыжусь своего происхождения, но если тут все дело в нем, так, конечно, осуждать меня за него не приходится.

Броуди хмуро посмотрел на него.

– Как вы смеете разводить тут передо мной ваш проклятый новоизобретенный социализм! – заревел он. – Все люди равны, не так ли? До чего еще мы дойдем! Болван! Убирайтесь с глаз моих! Живо!

Денис не двинулся с места. Он теперь ясно видел, что никакими доводами этого человека не проймешь, что с таким же успехом он мог бы пытаться пробить головой каменную стену. Он понимал, что такой отец может превратить жизнь Мэри в цепь ужасных несчастий. Но ради нее он решил до конца держать себя в руках и сказал очень спокойно:

– Мне жаль вас, мистер Броуди. Вы принадлежите к отживающему поколению. Вы не идете в ногу с прогрессом. И вы не умеете наживать друзей: должно быть, у вас одни враги. Нет, не я сумасшедший!..

Броуди встал, разъяренный, как бешеный бык.

– Уйдешь ты отсюда наконец, поросенок? – прохрипел он. – Или хочешь, чтобы я тебя пришиб на месте?

Он медленно двинулся к Денису. Тот мог бы в одну секунду выскочить из конторы, но вызванное оскорблениями скрытое озлобление против Броуди мешало ему уйти, хотя он сознавал, что уйти нужно ради Мэри. Уверенный, что сумеет постоять за себя, он не боялся силы этого надвигавшегося на него великана. Кроме того, он понимал, что, если уйдет сейчас, Броуди будет хвастать, что выгнал его вон, как побитую собаку. И он крикнул голосом, полным возмущения:

– Не прикасайтесь ко мне! Я стерпел все ваши грубости, но не заходите слишком далеко!

При этих словах Броуди чуть не задохся от ярости.

– Вот как, не прикасаться? – закричал он, и дыхание шумными порывами вылетало у него из груди. – Я поймал тебя, как крысу в западню, и раздавлю тебя, как крысу!

Медленно, словно крадучись, подходил он к Денису, старательно лавируя всем своим громадным телом. Затем, когда он был на расстоянии ярда от Дениса, так близко, что тому невозможно уже было увернуться, он оскалил зубы, вдруг поднял свой громадный кулак и с сокрушительной силой, со всего размаха направил удар в голову Фойля. Резкий, громкий хруст и треск раскололи воздух. В голову кулак не угодил: быстрее молнии Денис метнулся в сторону, и кулак Броуди с силой кузнечного молота ударился о каменную стену. Правая рука сразу повисла: она была сломана в запястье. Денис, глядя на Броуди и берясь за ручку двери, сказал тихо:

– Извините, мистер Броуди. Вы видите в конце концов, что все же есть вещи, в которых вы ничего не понимаете. Я вас предупреждал, чтобы вы меня не трогали.

Он вышел – и как раз вовремя. Тяжелый вертящийся табурет красного дерева, брошенный левой рукой Броуди, как выстрел из катапульты, ударил в легкую дверь, и вдребезги разлетелись и стекло и рама.

Броуди стоял с повисшей, как плеть, рукой и, раздувая ноздри, тупо смотрел на обломки. Он не ощущал боли в сломанной руке, только не мог ею двигать. Но грудь его, казалось, готова была разорваться от бессильного бешенства. То, что этот щенок, первый из всех людей, не только не испугался его, но еще оставил его в дураках, вызывало корчи уязвленного самолюбия. На физическую боль он не обращал внимания, но гордость его была смертельно задета.

Пальцы его левой руки конвульсивно сжимались. Ведь в одну минуту он мог бы загнать этого наглеца в угол и избить его до смерти. И оказаться побежденным, не успев нанести ему ни единого удара! Только последний остаток самообладания и проблеск рассудка помешали ему очертя голову броситься на улицу вслед за Фойлем, чтобы настигнуть и сокрушить его. В первый раз за всю его жизнь нашелся человек, дерзнувший дать ему отпор, и он скрипел зубами при мысли, что какой-то выскочка самого низкого происхождения посмел говорить ему дерзости в лицо и ушел безнаказанно, посрамив его, Броуди!

– Клянусь Богом, – выкрикивал он, обращаясь к пустой комнате, – он у меня за это поплатится!

Он осмотрел свою беспомощную теперь руку, которая уже посинела, распухла и имела отечный вид. Надо было что-нибудь сделать, а также придумать какое-нибудь объяснение, какую-нибудь галиматью вроде того, что он поскользнулся на лестнице. Угрюмый, вышел он из лавки, с треском захлопнул и запер входную дверь и отправился домой.

Денису между тем пришло в голову, что своим опрометчивым поступком он сильно повредил и Мэри и себе. До разговора с ее отцом он воображал, что умилостивит его и получит позволение навещать Мэри. Тогда им будет легче подготовить все для побега. Он доверчиво рассчитывал на то, что Броуди постепенно сменит гнев на милость, может быть, даже начнет питать к нему некоторое расположение. Такой успех, несомненно, облегчил бы им дальнейшие шаги и смягчил бы удар при неизбежном раскрытии тайны.

Денис рассуждал так, не зная Броуди. Он часто вспоминал то, что говорила о нем Мэри, но полагал, что ее слова, может быть, окрашены детским страхом перед отцом или она, благодаря своей впечатлительности, преувеличивает отрицательные свойства его характера. Теперь же он вполне понимал, почему Мэри так боится отца, находил, что характеристика, данная ею, наоборот, еще слишком снисходительна. Всего несколько минут тому назад он видел Броуди в состоянии такой необузданной злости, что начинал бояться за судьбу Мэри. Он не переставал клясть себя за свое неосторожное вмешательство.

Он был в полной растерянности, не зная, что ему теперь делать; проходя мимо писчебумажного магазина на Хай-стрит, подумал, что надо написать Мэри и назначить ей свидание на следующий день. Он вошел в лавку и купил листок почтовой бумаги и конверт. Несмотря на мучившую его тревогу, он сохранил свое умение пленять людей и до тех пор любезничал со старой дамой, стоявшей за прилавком, пока она не продала ему и марку и не дала перо и

чернильницу. Она сделала это охотно, матерински улыбаясь ему, и, пока он писал короткую записку Мэри, она уголком глаза внимательно наблюдала за ним. Окончив, Денис любезно поблагодарил ее и, выйдя на улицу, хотел уже было опустить письмо в почтовый ящик, но его вдруг остановила одна мысль, и он, как ужаленный, отдернул руку с письмом. Медленно отвернувшись от ящика, он постоял минутку на тротуаре и, видимо обдумав что-то, разорвал письмо на мелкие клочки и бросил в сточную канаву. Он вдруг сообразил, что если это письмо случайно будет перехвачено отцом Мэри, то Броуди сразу же поймет, что обманут, что они с Мэри все время тайно встречались. Денис говорил себе, что он сегодня уже совершил одну большую ошибку и надо быть осмотрительным, не допустить второй.

Застегнув доверху пиджак, засунув руки в карманы, вызывающе вздернув подбородок, он торопливо зашагал дальше. Он решил обследовать местность вокруг дома Броуди.

Незнакомый с этой частью города, он немного заплутался в предместье, но, благодаря своему умению ориентироваться, все же в конце концов, покружив, добрался до дома, где жила Мэри. Он никогда раньше не видел этого дома и теперь, увидев, был поражен. Этот дом казался ему более подходящим для тюрьмы, чем для жилья, и столь же неподходящим жилищем для кроткой и милой Мэри, как темный глухой склеп – для голубки. Приземистые серые стены, казалось, сжимали ее неразрывным объятием, крутые валы напоминали о ее порабощении, глубокие амбразуры окон кричали о том, что она насильственно заточена здесь.

Осматривая издали дом, Денис бормотал про себя: «Я буду счастлив увезти ее отсюда, а она – рада вырваться. Этот человек ненормальный: у него голова не в порядке. И дом чем-то похож на него!»

С душой, омраченной тяжким беспокойством, он укрылся в проломе изгороди, оказавшейся за его спиной, присел на перекладину, закурил и принялся обдумывать положение. Настоятельная необходимость увидеться с Мэри заставила его перебрать в уме ряд неосуществимых проектов и неосторожных планов. Он боялся сделать новый промах, но снестись с Мэри нужно было сейчас же, иначе случай будет навсегда упущен. Папироса была уже почти докурена, когда вдруг лицо его утратило мрачное выражение, и он задорно усмехнулся, восхищаясь простотой замечательной идеи, осенившей его. Что мешает ему сейчас, среди бела дня, смело подойти и постучать в дверь? Почти несомненно, что откроет ему сама Мэри, и он в ту же секунду сделает ей знак молчать, сунет в руку записку и уйдет так же открыто и с достоинством, как и пришел. Ему достаточно известны были порядки в доме, чтобы сообразить, что раз сам Броуди в лавке, а маленькая Несси в школе, то, кроме Мэри, открыть дверь могла бы еще только миссис Броуди. А если это и произойдет, так ведь она его не знает, муж еще не успел предостеречь ее против него, и можно будет просто спросить, не здесь ли живет такой-то, назвав первую попавшуюся фамилию, а затем, извинившись, поскорее ретироваться.

Он торопливо вырвал листок из записной книжки, нацарапал карандашом короткую записку, в которой просил Мэри прийти завтра вечером к публичной библиотеке. Он предпочел бы выбрать для свидания более укромное место, но подумал, что уйти из дому Мэри сможет только под предлогом обмена книг в библиотеке. Написав записку, он сложил ее аккуратным квадратиком, крепко зажал в руке и, стряхнув с себя пыль, соскочил с перекладины. Проворно повернувшись к дому, он старался принять невинный вид обыкновенного посетителя, как вдруг лицо у него вытянулось, потемнело, и он метнулся назад в свое убежище. Шагая по мостовой, с нижнего конца улицы приближался не кто иной, как сам Броуди с забинтованной и висевшей на перевязи рукой.

Денис прикусил губу. Нет, видно, ему не везет во всем! Теперь невозможно было подойти к дому, – и он с горечью подумал, что Броуди в своем озлоблении, конечно, всех в доме предупредит и лишит его возможности выполнить свой план в другой раз. С тяжелым сердцем думал он также о том, что гнев Броуди обрушится на Мэри, хотя он, Денис, так старательно выгородил ее во время злосчастного разговора в лавке. Он следил за Броуди, подходившим все

ближе, с беспокойством заметил, что ушибленная рука положена в гипс, заметил и грозовую мрачность его лица, видел, как он рванул калитку и вошел в дом.

Дениса мучили дурные предчувствия. Пока Мэри живет рядом с этим чудовищем в этом чудовищном доме, нельзя ни на минуту быть спокойным. Напряженно прислушиваясь, не услышит ли он какой-либо звук, крик, зов на помощь, он бесконечно долго ожидал у дома. Но стояла тишина, все было тихо за холодными серыми стенами этого странного жилища. И Денис наконец уныло побрел прочь.

IX

Мэри Броуди вязала чулки отцу. Она сидела, наклонясь немного вперед, лицо ее было бледно, а глаза, окруженные тенью, устремлены на длинные стальные спицы, автоматически мелькавшие в ее пальцах. Клик-клик! – щелкали спицы. Мэри казалось, что она давно уже слышит только один этот звук, потому что все свободное от работы время она вязала. Мама сентенциозно объявила, что так как для праздных рук дьявол легче находит работу, то руки Мэри всегда должны быть заняты, даже в часы досуга, и Мэри было дано задание вязать по паре чулок каждую неделю. Сегодня она кончала шестую пару!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.